

ISS № 0206 — 0248

2.1986

Апрель—июнь

ОГНИ КУЗБАССА





Н. В. Вертков. Геологи. X.-м.

P2
0-38

№ 2 (92)

Год издания 38-й

Выходит
ежеквартально

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

В НОМЕРЕ

Редактор

Владимир **МАЗАЕВ**

Редакционная коллегия:

Виктор **БАЯНОВ**

Сергей **ДОНБАЙ**

Геннадий **ЕМЕЛЬЯНОВ**

Валерий **ЗУБАРЕВ**

[отв. секретарь]

Владимир **КУРОПАТОВ**

Владимир **МАТВЕЕВ**

Валентин **МАХАЛОВ**

Зинаида **ЧИГАРЕВА**

Геннадий **ЮРОВ**

ПОЭЗИЯ

Геннадий Юров. Земля Кузнецкая прекрасна! 3
Валерий Зубарев. Тревожная ночь. Сокровенность. На-
копитель. Двойники. Горожанин. Лесная сказка 44

ПРОЗА

Виль Рудин. Маршал хлебного корпуса. Киноповесть 7
Владимир Валиулин. Борисик. Рассказ 48
Юрий Пыль. Пыжиковая шапка. Рассказ 51

НАШ СОВРЕМЕННИК

Петр Ворошилов. Законы высоты 56

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Юрий Кандыба. Космический гость 66

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Владимир Мазаев. Турция вблизи 74

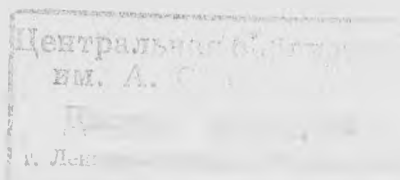
СЛОВО КРИТИКЕ

В. Хорольский, С. Смолянин. Первое слово. (Заметки о
кассете «Первый горизонт») 84

ИЗ ПОЧТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Нгуен Хыу Зи. Вьетнамские притчи: Неподкупный. Ред-
кая змея. Слоны и пятеро слепых. Благодаря поросенку.
Урок тигру 87

Кемеровское
книжное
издательство
1986



Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40,
тел. 6-85-14

Рукописи
не возвращаются

Составитель
В. М. Мазаев

Ведущий редактор
Л. В. Глебова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор
В. А. Лузина

На обложке этого номера — живописные работы художника **Н. В. Верткова**.
На первой странице: «После смены».
На четвертой странице: «Отец и сын Григорьевы».

НАШИ АВТОРЫ

Рудин Виль Григорьевич родился в 1925 году. Автор многих книг прозы, последние из которых — «Между вчера и завтра». Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Валиулин Владимир Галимулович родился в 1950 году. Работает в редакции многотиражной газеты КМК. Публиковался в периодике. Живет в Новокузнецке.

Пыль Юрий Степанович родился в 1947 году. Окончил Омскую Высшую школу милиции МВД СССР. Работает начальником следственного отделения Новокузнецкого РОВД. В альманахе «Огни Кузбасса» публикуется впервые.

Кандыба Юрий Лукич родился в 1937 году. Окончил Сибирский металлургический институт. Работает в горном отделе комбината Кузбассшахтострой. Автор книг «По следам Тунгусской катастрофы» и «В стране огненного бога Огды». Живет в Новокузнецке.

Сдано в набор 14.02.86. Подписано к печати 21.04.86. ОП04344. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,44. Усл. кр.-отт. 7,31. Уч.-изд. л. 8,23. Тираж 7000 экз. Заказ № 3673. Цена 50 к. Кемеровское книжное издательство, Кемеровский полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

Геннадий Юров



ЗЕМЛЯ КУЗНЕЦКАЯ ПРЕКРАСНА!

СТАРШИЙ БРАТ

Фрагмент поэмы

По всей земле, насколько я разведал,
Негусто Юровых — однофамилец редок.
Должно быть, мой достопочтенный предок
Жил на юру,
Где свищет ветер зло.
Чтоб пласт повествованья не утратить,
Я должен рассказать о старшем брате.
Был старший брат!
Мне в этом повезло.

Тогда район Рудничный слыл отпетым.
Ходила улица с ножом или кастетом.
Но брат мой старший
Был авторитетом —
Не признавал кастета и ножа.
С ним повстречавшись в темном переулке,
Всегда дорогу уступали урки,
А если цыкнет — пятились дрожа.

Таков мой брат.
Он строгим был по праву.
Учил меня ловить ельцов и плавать,
Вязать плоты, искать саранку в травах
И никогда в обиду не давал.
Я за спиною слышал что-то вроде:
— Меньшой братишка Юрова Володи, —
Никто меня по имени не звал.

Над Кемеровом башенные крапы.
Край строился, залечивая раны.
А братья старшие
Взрослели слишком рано.
Семнадцати, еще неполных, лет

Мой брат трудился в шахте — на проходке
И умер скоротечно от чахотки...
И шел ко мне звезды погасшей свет.

Я взял его карандаши и краски,
Нарисовал Снегурочку из сказки.
Потом войну — отца в солдатской каске,
Тела врагов, побитых без числа.
Потом сосну,
Береговые скалы...
Мои рисунки улица признала,
Меня по имени впервые назвала.

Я прожил дольше умерших и павших.
В иные дни считал себя уставшим.
Но старший брат!
Он остается старшим!
Его кедрач, как прежде, — на корню.
Нас разделяют годы, как ступени.
Он со своим уходит поколеньем.
И никогда его не догоню.

Мой старший брат.
Легли ему на плечи
Цеха азота, коксовые печи.
Он открывал разрезы в междуречье,
Грузил горючим камнем поезда,
Ходил с геологами по маршрутам горным.
Под Казом, Шерегешем, Таштаголом
Им найдена железная руда.

Я ощущал тепло ладони братской
На «Зиминке», «Чертинской» и «Распадской».
Заговорив с проходчиком,
Под каской
Угадывал знакомый мне овал.
В прорабах и монтажниках Запсиба
Его черты...
И было так — спасибо! —
И друга старшим братом называл.

Мой старший брат прошел по первопутку.
Долине гулкой протрубил побудку.
Я по нему сверял свои поступки,
Отогревался у его огня.
Завидую его плечам покатым.
И так скажу:
Имеет сходство с братом
Портрет родного края для меня.

СКАЖИ МНЕ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ

Непреднамеренно, непрошено,
От сердца к сердцу — по прямой
Скажи мне что-нибудь хорошее,
Желанный собеседник мой.

А то, признаюсь я по совести,
Уже давно со всех сторон
Дурные осаждают новости,
Упреки сыплет телефон.

И до того, как трубка брошена,
Прошу я, уловив момент:
— Скажи мне что-нибудь хорошее!
Но ты молчишь, мой абонент.

Как будто мысль моя чудовищна.
Как будто из последних сил
Оберегаешь ты сокровище,
Куда я руку запустил.

Непостижимо!
Чуть не с гордостью,
Что так обижены судьбой,
Друг другу поверяем горести
И сетуем наперебой.

Пора потерь владеет чувствами.
Нам улыбнуться недосуг.
Скажи мне что-нибудь негрустное,
Испытанный годами друг.

Ранимым я бывал и раненым.
Но слову верить не устал.
Пускай заблещет всеми гранями
Его целостный кристалл.

И не молчи так огорошенно.
Дай лучик от своих щедрот.
Скажи мне что-нибудь хорошее,
И пусть оно произойдет.

СИБИРСКИЙ УГОЛЬ

Давно молва идет по кругу,
Что дешев наш сибирский уголь.
Коксующийся концентрат,
Мол, без особых затрат.

Сперва убрать покров природы.
Потом подрезать слой породы.
И пласт вычерпывай до дна —
Земля Кузнецкая черна!

И в шахте нужный опыт скоплен:
Откалывает уголь комлекс,
А не отбойный молоток.
Отсюда дешев уголек.

А себестоимость отвала,
Где раньше рошица стояла?
Исчезновение родника...
Как быть с ценою уголька?

Скажите, сколько стоит тонна,
Когда плывут по рекам бревна,
Луга и хлебные поля
Бегут от залежей угля?

Во что старательный бухгалтер
Шахтерский расценил характер —
Земля Кузнецкая черна
И потому обречена?!

Земля Кузнецкая прекрасна.
Не мучайте ее напрасно.
Берите бережнее пласт,
Она сторицею воздаст.

Ну а расчет, что сделан ловко,
Оценят горняки — дешевка!
А горняки не скажут зря
Про себестоимость угля.

ВТОРАЯ ПРИРОДА

Декоративные породы
И рукотворный водоем
Как существа второй природы,
Которую мы создаем.

Из леса саженцы ворует,
Чтоб в скверах радовали глаз.
Природу делаем вторую,
Уходит первая от нас.

Спасибо ей, что, так рискуя,
Нас обучила ремеслу,
В свою впустила мастерскую,
Как муравья и как пчелу.

Мы потрудились без оглядки,
Ее законам вопреки...
Ну, а теперь лесопосадки
И перекрытие реки.

Я верю в то, что через годы
К творениям детей своих
Вернется первая природа
Внести необходимый штрих.

Когда мы оживляем камень,
Внедряем севооборот,
Она сыновними руками
Сама себя воссоздает.

Смотрю на медленные всходы,
Склоняясь к истине простой:
Есть Родина.
И есть Природа.
Исконная.
И нет второй.

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Нету истин бесспорных.
А есть их познания грусть,
Бремя вечных вопросов
В ребенке, в ученом, в поэте...
— В чем же смысл бытия?
— Я об этом судить не берусь,
Но про жизнь про свою
Я, пожалуй, сумею ответить.

— Ну, а есть ли судьба
Или, как говорится, звезда?
— Да, я верю в звезду,
Что во мне принимает участие.
— Ты счастливый?
— Не знаю.
Порою казалось, что да.
Но с годами меняется
Наше понятие о счастье.

Время лечит. Все так.
Разменявшие возраст утрат,
Не лечило бы время,
Что годы бы сделали с нами?
Но наступит предел,
За которым, сняв белый халат,
Этот доктор и маг
Разведет безнадежно руками.

— И придет отчуждение?
— Оно не придет никогда.
На судьбу человека
Планета богаче отныне.
Ты живешь в чьей-то памяти.
Светит кому-то звезда.
Бремя вечных вопросов
Тебя и тогда не покинет,



Виль Рудин

МАРШАЛ ХЛЕБНОГО КОРПУСА

(Киноповесть)

Лизасский лесхоз, затерявшийся в далекой Горной Шории.

Вместительный амбар — в такие за лето завозят на предстоящую долгую и суровую зиму муку, крупы, сахар.

Обе створки дубовых ворот амбара распахнуты, у стены, на траве, трое убитых чоновцев. Не глядя на трупы, дюжие дядьки быстро, споровисто таскают кули, ящики из амбара к реке, гремят сапогами по галечному откосу, бросают награбленное у карбасов; другие относят кули и ящики в лодки.

У амбара сидит Серж Лукомский, и он держит себя так, словно на нем все еще подполковничьи погоны, хотя китель со стоячим воротником давно уже продрался на локтях, от погон остались лишь темные полосы. Перед Лукомским еле держится на ногах связанный командир с разбитым лицом. На груди его — орден Красного Знамени в алой розетке. За спиной командира трое мрачного вида людей, увешанных оружием.

Лукомский неспешно ведет пасмешливый разговор:

— Что же ты, комэск, в ревтрибунале скажешь? Расстреляют ведь тебя, а? И орден не спасет!

Комэск косолапо ступает вперед — сапог на нем нет, но босые ноги не ощущают холода утренней росы. Он еще надеется на что-то.

— Нет, Лукомский, нет, бандюга, меня ты взял, но ЧК не сегодня завтра до те-

бя доберется, еще ты в ногах валяться будешь.

Один из конвоиров — это Твердов — бьет комэска прикладом меж лопаток, комэск от резкого удара запрокидывает голову.

Лукомский, махнув рукой:

— Хватит, ротмистр, или вы еще душу не отвели? — Встает. — Ты дурак, комэск. Твоих сопливых чоновцев мы еще ночью кончили. Как раз когда ты второй стакан самогонки пропускал. Всех кончили, до единого. И лесхозовское начальство повесили ближе к утречку, когда бы тебе посты проверить, а ты все думал, стоит ли из Таськиной постели вылезать... Таська — она, разумеется, баба развратная, однако, видишь, иногда и шлюха может послужить нашему святому делу. А чекистами зря пугаешь. Пока Сибчека сюда, в Горную Шорию, доберется, я знаешь где буду?

Ротмистр снимает с плеча карабин, передергивает затвор.

— Пора уходить, Сергей Павлович. С вашего разрешения поплю бравого комэска вдогонку за его полуэскадрой. — Он поднимает карабин, но Лукомский загадочно улыбается:

— Вы тоже дурак, ротмистр. О храбром комэске должна остаться слава, что он переметнулся. Мне нужно, чтобы трупы его среди чоновцев не сыскали. А орден вы у комэска заберите, он бравому комэска больше не понадобится.

Конвоиры кидаются на комэска скопом, сбивают с ног, чья-то рука хватает орден, однако сорвать его не так-то просто: он привинчен намертво. Командир, скрючась, пытается перевалиться на грудь, прикрыть своим телом награду. Лукомский морщится.

— Что за дикость, господи! Поставьте его на поги! — Ножом вырезает кусок гимнастерки вместе с орденом. — Тащите его в лодку! Отплываем!

«...В ОДИН ИЗ ГОЛОДНЫХ КРИЗИСОВ ЛУТОЙ ЗИМЫ НАДО БЫЛО ВЫВЕЗТИ ИЗ НЕОБЪЯТНОЙ СИБИРИ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ ПУДОВ ХЛЕБА. ТО БЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ДЛЯ ГОЛОДАЮЩЕГО ЦЕНТРА. ПРИКАЗАМИ ДЕЙСТВОВАТЬ УЖЕ НЕЛЬЗЯ БЫЛО. ВНАЧАЛЕ ДОЛЖНО БЫЛО СТОЯТЬ ДЕЛО, А НЕ СЛОВО. НАДО БЫЛО С БЕШЕНОЙ ЭНЕРГИЕЙ СБИТЬ МАРШРУТЫ ИЗ ВСЕГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПОСТАВИТЬ ВО ГЛАВЕ ИХ ОТВАЖНОГО ЧЕЛОВЕКА И БРОСИТЬ В ЛЕДЯНЫЕ ПОЛЯ СИБИРИ. МАРШАЛОМ ВСЕГО ЭТОГО «ХЛЕБНОГО КОРПУСА», РЕШИВШИМ ЕГО СУДЬБЫ, БЫЛ НАЗНАЧЕН ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ».

Г. М. КРИЖАНОВСКИЙ

* * *

ТИТР: МОСКВА, 1 ЯНВАРЯ 1922 ГОДА.

Кремль, Кавалерский корпус. Скромная квартира Дзержинских на первом этаже: две светлые комнаты с высокими потолками, небольшая прихожая, кухня.

Сидит за пианино Зося — Софья Сигизмундовна, жена Дзержинского. Топкие, длинные ее пальцы скользят по клавишам: это любимый Дзержинским Шопен.

Софья Сигизмундовна играет, чуть прикрыв глаза. Отзвучала мазурка — полились звуки полонеза.

Как зачарованный, стих у ног Софьи Сигизмундовны десятилетний сын Дзержинских, круглолицый и застенчивый Ян, Ясик.

Открывается неслышно дверь из прихожей — на пороге стоит Дзержинский, улыбаясь, смотрит на жену, слушает...

Она вдруг резко обрывает игру, резко оборачивается — все дальнейшие разговоры идут на польском языке.

— Фелек, наконец-то! Мы тебя заждались! — Она идет на кухню, а Ясик подходит к отцу, берет его руку двумя руками, Дзержинский кладет ладонь на голову мальчика.

— Ну что, Ясик, ты решил свою задачу?

— Решил, сам. Мама даже не помогала.

— Так и должно быть.

Они, обнявшись, идут в комнату.

Дзержинский снимает френч, под которым оказывается белая сорочка с расстегнутым воротом и широкими рукавами, вешает френч на спинку стула.

Сын, склонив голову к левому плечу, нерешительно спрашивает:

— А сегодня ты научишь меня клеить паровозы и вагоны? Ты обещал, татусь... Помнишь?

Дзержинский оглядывается на кухню, мягко улыбается:

— Что обещал — помню... Ну хорошо, сегодня первый урок.

Ясик, просияв, кидается в соседнюю комнату, выносит оттуда картонную коробку, ставит на стул рядом со столом. Дзержинский и Ясик вместе выкладывают на стол спичечные коробки, листочки ватмана, линейку, карандаши, ставят бутылочку гуммиарабика.

Склеив два коробка, Дзержинский обертывает их полоской бумаги, заклеивает переднюю часть.

— Вот так, видишь? Запомнишь?

— Да, татусь.

— Теперь приклеим будку для машиниста, вот так...

Из кухни выглядывает Софья Сигиз-

мундовна — увидев, что муж и сын чем-то увлечены, улыбается и вновь скрывается.

Дзержинский пасаживает вырезанные из ватмана колеса на оси из спичек.

— Это у нас получился маневровый паровоз без тендера, серии ОВ, на всех дорогах его называют «овечка».

Ясик улыбается:

— Овечка?

Идет по комнате Софья Сигизмундовна, несет поднос, на нем чайничек с заваркой, сахарница с мелко наколотым сахаром, несколько ломтиков серого поздраватого хлеба, мармелад на блюдечке, три стакана в подстаканниках. Улыбаясь, она ставит поднос на самый краешек стола, удивляется:

— Боже мой милостивый, ты еще помнишь, как это делается? Ты клеил такие в Кракове, ты вечно возился там с детворой...

Дзержинский кивает, говорит задумчиво:

— Да, да, в Кракове... — Он ставит паровозик на стол.

Ясик аккуратно, двумя пальцами подталкивает игрушку — она плавно катится по застиранной, но чистой скатерти.

Дзержинский чуть приметно вздыхает. — Все, Ясик, урок окончен. Давай складывать... — Они быстро и ловко, не мешая друг другу, укладывают в коробку богатства мальчика, только паровозик так и стоит на столе.

Резкий звонок телефона в передней — Дзержинский уходит туда, прикрывает за собой дверь. Снимает трубку.

— Вас слушаю.

За кадром звучит голос Ленина:

— Феликс Эдмундович, здравствуйте! Вот решил позвонить, попрощаться. До вашего отъезда мы едва ли увидимся. Врачи грозят завтра же увезти меня из Горок в Костино, подальше от телефона.

— Что же делать, Владимир Ильич! Вчерашнее решение Политбюро надо выполнять: вам даны шесть недель отдыха!

— Да, да, я буду отдыхать. Завтра со-

бирается Президиум ВЦИК. Вам будут даны самые широкие полномочия... — Ленин вдруг смолкает. Видимо, ему трудно дышать.

Дзержинский — с беспокойством:

— Я слушаю, Владимир Ильич! Я слушаю!

— Да, да... Извините... Феликс Эдмундович, не вам объяснять тяжесть нашего положения... Тридцать три миллиона голодающих. Явите же нам чудо! Если мы к марту не перебросим десять-двенадцать миллионов пудов хлеба из Сибири, я считаю гибель Советской Республики неизбежной...

...Напряженный взгляд Дзержинского в застывшее окно, трубка зажата в правой руке... Он разжимает занемевшую руку, перекладывает трубку.

— Да, Владимир Ильич, я именно так понимаю задачу экспедиции.

— Я знаю вашу твердость и непреклонность. Я убежден, что в нашем ЦК никто, кроме вас, для этого дела не подходит.

— Спасибо, Владимир Ильич. Надеюсь, мы оправдаем доверие Советской власти.

Дзержинский кладет трубку, проходит в комнату — Софья Сигизмундовна и Ясик уже сидят за столом, Софья Сигизмундовна разливает чай, молча намазывает мармелад на ломтики хлеба, кладет на тарелочку, пододвигает ее мужу и сыну — они весело переглядываются, пьют чай, с аппетитом откусывают хлеб с мармеладом.

Софья Сигизмундовна смотрит на них молча, в лице ее задумчивость.

Дзержинский ставит на стол пустой стакан, встает, надевает френч.

— Зося, спасибо. Я уеду в НКПС...

Софья Сигизмундовна молча кивает. Дзержинский застегивает пуговицы френча.

— Зося, вчера решили на Политбюро... Мы едем в Сибирь. Представить себе не могу, что там увижу...

Глубокая ночь. Луна изредка проби-
вается, светит из летящих по черному
небу рваных облаков. Идет по насыпи
литерный поезд Дзержинского; мерно
постукивают на стыках колеса...

В салон-вагоне за небольшим столом
Дзержинский углубился в бумаги; на его
сосредоточенное лицо падает свет на-
стоятельной лампы...

Из ночной тьмы наплывает название
фильма:

«МАРШАЛ ХЛЕБНОГО КОРПУСА»

* * *

Зимний морозный день с ветерком. Из
устья штольни, пробитой в крутом, за-
снеженном склоне, трудармейцы, упира-
ясь разбитыми ботинками в чугунную
землю, выкатывают вагонетку, ставят на
поворотный круг, разворачивают и катят
к отвалу.

Сыплются угольные глыбы, черным пят-
нают наметенный за ночь снег. Уголь
вдоль ветки тянется бесконечно в не-
сколько рядов: под снегом — сотни тысяч
пудов невывезенной добычи.

На площадке возле устья штольни —
комроты Ливанов в армейской шинели,
шпаке-кубанке, натуго перетянутый офи-
церскими ремнями. Убежденно говорит
стоящему перед ним старшине роты:

— Попомните мои слова, старшина:
если сегодня не привезем пайков, точно
угодим под реэтрибунал: вчера послед-
ние сухари подъели.

У старшины — улыбка во все лицо:

— Не, товарищ комроты, не угодим!
Имею точные сведения: вчера к ночи ком-
проду пригнали вагон муки, ночью хлеб
пекли, сегодня все получим!

— А найдете среди больных человек
двух пайки донести?

— Отчего же, найду.

— Тогда давайте получайте. И чтобы
все по нарядам, что положено, отдали! —
Он уходит в темный зев штольни.

От станции идет группа людей. Вме-
реди неспешно вышагивает инженер Ве-
ликорецкий, за ним семенит Хромов, уп-
равляющий копиями. Особняком держит-
ся командир полка Сыромятин.

Увидев Сыромятина, трудармейцы,
сгрудившиеся у пустой вагонетки, кричат
в сторону штольни:

— Эй, ребята, зови сюда комроты! Тут
начальства видимо-невидимо!

Из штольни выходит Ливанов. Терпе-
ливо ждет, пока группа подойдет, левой
рукой прикрывает от ветра ухо. Когда
группа поднимается по полумрачной
снегом тропе к устью, подбрасывает ру-
ку к виску, отрывисто докладывает ком-
полка:

— Семнадцатая рота вверенного вам
полка производит выемку угля из Семе-
новской штольни.

Комполка в офицерской бекеше, лицо
бритое, обветренное; слушает вниматель-
но...

— ...личного состава на работе пять-
десят восемь, больных двадцать четыре,
дезертиров пет!

Комполка жмет Ливанову руку:

— Алексей Алексеевич, к вам комис-
сия... Инженер Великорецкий имеет ши-
рокие полномочия от Сибревкома и Сиб-
бюро партии большевиков...

Ливанов вскидывается:

— Может ли товарищ Великорецкий
решить две проблемы: создать запас хле-
ба в компроде хотя бы на месяц и, на-
оборот, уменьшить запас угля в штабе-
лях? Наша работа по существу не имеет
смысла!

Великорецкий — высокий, ухоженный,
с седой щеточкой усов, — сочувственно
жмет руку Ливанову:

— Вывоз угля — это и моя печаль.
Здесь вон какие завалы, а на магистра-
ли паровозы стоят: нет угля. И могу
разъяснить: от местного компрода завод
хлеба ни в малейшей степени не зависит.
Он живет тем, что занаряжает Томский

губпродком. Ну, пойдемте, посмотрим, что в штольне.

* * *

В штольне кипит работа: одни трудармейцы рубят уголь вручную, другие лопатами бросают куски угля в вагонетки, третьи, упиравшись руками и плечами, катят уже груженные вагонетки к устью — там виднеется светлое пятно.

Из глубины штольни быстро идут гуськом Великоорецкий, Хромов, комполка и Ливанов — мимо забойщиков, мимо медленно катящихся вагонеток.

Великорецкий оборачивается в ярости, тычет пальцем в грудь остановившегося Хромова:

— Что вы меня уговариваете, Степан Трофимович? Стыдно, батенька мой, стыдно! Как вы-то могли такое допустить?

Комполка пропускает вагонетку, придвигается, говорит примирительно:

— Зачем же здесь, товарищ Великоорецкий? Наберитесь терпения. — И с укором — к Ливанову: — Хотел ставить вас на батальон, Семина у нас забирают. А вы... Что же так подвели, Алексей Алексеевич?

Теперь все четверо вышли на площадку перед устьем штольни, остановились. Ливанов тоже гневен.

— Я, товарищ командир полка, не инженер! Горняцкому делу не обучен! Я военный! В армии есть строй, мужество, верность присяге, смерть за Россию и смерть за идею! Но в армии нет техники безопасности!

Великорецкий набрасывается на Ливанова:

— Вы, батенька мой, не бросайтесь высокими словами! Вы, батенька мой, загнали своих солдат не за углем, а на погибель! Что вы делаете? — указывает на оголенное, без крепления, устье. — Вы посмели начисто забыть о креплении устья! У вас весна на носу! Хлынет по склону талая вода — что тогда? Всех ваших шестьдесят солдат раздавит, никто не вырвется! Стыдитесь, батенька мой! —

Снова оборачивается к Хромову, на лице которого смирение и готовность все тут же исправить. — Где ваш горный надзор? Я знал вас по Томскому университету и считал дельным инженером, а вы!..

* * *

Дзержинский смотрит из окна салопагона. Проплывает здание с надписью: «Станция Макушино». Здесь оборотное депо, станционный поселок уютно расположился на взгорке вдоль линии. Видны пакгаузы, около них — часовые с ружьями.

Медленно надвигается литерный поезд. Лязг буферов, клубы пара от тормозящего паровоза. На заснеженный перрон спрыгивает Дзержинский, за ним Белов. К Дзержинскому скорым шагом подходит атлетического сложения человек в полушубке и валенках, останавливается в трех шагах, по-уставному:

— Товарищ Дзержинский! Начальник дорожной ЧК Куимов!

— Здравствуйте! Вы сообщили, что хлеб со станции не отгружается вторую неделю. Сколько храните хлеба?

— На вчера имели семь тысяч пудов. Пакгаузы все засыпаны под застреху. Этот эшелон нагружен и стоит третьи сутки: нет паровозов.

— Но хлеб еще поступает?

— Поступает, товарищ Дзержинский. Мужики везут, хотя не так много, как месяц-два назад. Ссыпаям теперь в колоды.

— В колоды? Это что такое?

Куимов идет по заснеженной тропе к пакгаузу, сворачивает в сторону, к бурту.

— Вот здесь.

Дзержинский нетерпеливо, не ощущая холода, отбрасывает снег, ему помогает Белов. Но вот Дзержинский приподнимает застывший брезент — видны колоды спрессованного сена. Из колод выложен прямоугольник, метра два на пять, высотой по пояс, и в этот прямоугольник ссыпан хлеб. Дзержинский черпает зер-

но, пересыпает из ладони в ладонь, снова черпает, подносит к лицу.

— А там, за Уралом, дети по почам не спят от голода! Там люди умирают, ибо мы не можем дать им куска хлеба! А вы тут! Зерно — в снег!

— Это третий борт, товарищ Дзержинский, и если завтра с утра возобновится подвоз, заложим четвертый и пятый. Площадки вои там расчищены. Мужики говорят, с месяц можем держать, а дальше пачнет мерзнуть...

— Как с охраной? Достаточная?

— Достаточная, товарищ Дзержинский, у нас ЧОН боевой, и рота трудармейцев, они в прошлом году участвовали в подавлении Ишимского кулацкого мятежа, народ беззаветный.

— Хорошо, что вы их так аттестуете. Передайте людям благодарность всей Республики за сохранение для голодающих хлеба. Насчет вывоза мы примем меры. До свиданья.

Дзержинский и Белов быстро идут к вагону, поднимаются по ступенькам, состав медленно трогается.

* * *

Небольшая комната окутана оранжевым полумраком от накинутаго на абажур шали, только круглый стол залит ярким светом. На столе — всякая снедь, словно в дореволюционные времена, и даже пеночатая бутылка с коньяком.

Некто в кресле говорит хорошо поставленным баритоном:

— Где сейчас Дзержинский?

В комнате еще один человек — рослый, с хорошей военной выправкой. На нем заправленная в галифе белая сорочка, на ногах высокие американские ботинки со шпуровкой, ему очень идут аккуратно подстриженные усы и бородка. Он держит в руке стакан с чаем — не подходя к столу, отвечает, явно размышляя о чем-то своем:

— Сегодня прибудет в Омск, но уверен, что на той неделе зайвится в Новониколаевск.

— Почему вы так думаете?

— Господи, это же просто: здесь все сибирское руководство.

— Вы считаете, сразу полетят головы?

— Чьи головы, Николай Николаевич? Что Дзержинский вытряхнет из теплых кресел разгильдяев и всякую гниль — не сомневаюсь...

— Опомнитесь! — В голосе Николая Николаевича недоумение, даже возмущение. — Вы забылись! Здесь не большевистский митинг!

Секунду спустя он пожимает плечами, произносит примирительно:

— Пардон, подполковник. Пардон. Я вижу, роль Крылова вошла вам в плоть, и кровь, и разум...

Его собеседник ставит стакан на ярко освещенный стол, снова уходит в полумрак. Отвечает без раздражения — для него это само собой разумеется:

— Иначе мне не выжить, только вам этого не понять. Вы приехали и уехали, а я... Правда, здесь нет Дзержинского. Но есть Павлуновский, полпред ВЧК по Сибири.

— Но вы вне подозрений? Такой высокий пост... Вы все время на виду... Вас не раскроют?

— А какие у них основания для подозрений? Тот, кто ехал в Новониколаевск на эту должность, тихо умер в пути и за два года сгнил в сырой земле. Его никто не хватился.

— Я понимаю... Итак, что мы можем предпринять в связи с приездом чекиста номер один?

— У нас много возможностей... Конечно, господин Дзержинский — серьезный противник... Вообще я теперь отношусь к этим людям несколько иначе... Есть среди них и болтуны, и демагоги, и приспособившиеся... Но в основном — люди упорные, дельные, с мертвой хваткой... Только здесь не Москва. Здесь Сибирь — расстояния в тысячу верст, тайга, бездорожье...

— Оставим патетику, прошу вас... Я

спрашиваю: что конкретно может и готова сделать организация?

— Ну хорошо, конкретно. Разные группы и отряды будут действовать по всем железным дорогам. Под их ударом окажутся мастерские и депо, хлебные пакгаузы и мосты, главный ход магистрали и ветки Алтайская и Южно-Сибирская. Ударим по Кольчугинской ветке — оттуда идет уголь, а без угля, сами понимаете...

— Да, да, все это прекрасно... Однако у вас мало времени для организации борьбы.

— Кто же мог знать заранее, что приплот именно Дзержинского? Вы там, в Париже, знаете, как его зовут у большевиков? Железный Феликс! И я вас уверяю, что это не миф. Но мы дадим бой! У нас есть боевые, бесстрашные офицеры. Есть оружие! Наши люди сидят везде: на дорогах, продбазах... До сих пор главной формой борьбы был саботаж. Станет беспощадный террор. А будет возможно — доберемся до самого «товарища Феликса»... Состав под откос — и нет его...

* * *

Вечерет.

Из окна вагона видно, как проплывает снежная равнина, уходящая к далекому горизонту. Иногда, на повороте, в окна бьют закатные солнечные лучи.

У окна в глубокой задумчивости стоит Дзержинский. Но вот он оборачивается к сидящему за столом Белову:

— Вы теперь вывели итоговую цифру по хлебу?

— Да, на сегодня собрано по всем губерниям Сибири двадцать девять миллионов пудов.

— Понимаете, что это значит? Сибирский крестьянин выполнил свой долг! А рабочий, железнодорожник, не может перевезти собранный хлеб за Урал! Такая беспомощность! Такой развал! Когда мы будем в Омске?

— Сегодня к ночи.

— Передайте по телеграфу вызов ко

мне начальника и комиссара Сибирского округа железных дорог!

И снова Дзержинский кружит по вагону. Белов терпеливо ждет. За окном уже сгустилась ночь, изредка пролетают паровозные искры, а так — черным-черно. Но вот Дзержинский останавливается. — Записывайте! — Он диктует быстро, зная, что Белов все запишет:

«Всем рабочим и служащим железных дорог Сибири... Продпалоговая кампания в Сибири идет к концу. Крестьянин Сибири выполнил свой долг перед Республикой, сдав почти целиком, что требовало от него государство. Но задание Республики по вывозке продовольствия из Сибири не выполняется. Хлеб ссыпается в колоды из прессованного сена... В декабре грузилось и вывозилось менее 20 процентов, менее одной пятой нормы... Всему миру известно, какую огромную революционную роль сыграли железнодорожники Сибири... Я убежден, что и теперь железнодорожники Сибири поддержат эту славу и не позволят никому сказать, что дело помощи голодающим... дело укрепления РСФСР было сорвано из-за плохой работы Сибирской железной дороги». Записали? Поставьте мою подпись. Все, вы свободны.

* * *

Прогночный цех Омских железнодорожных мастерских. Ночь.

У стены, на крюке, перепосная лампа, в ее рассеянном свете мы видим сторожа — он сидит на пустом ящике. На нем латапый-перелатапый полубубок, пека-зистый трех; на коленях — ружье.

У сторожа сумрачное лицо, правый глаз закрыт черной повязкой. Издали, с того конца утонувшего во тьме цеха, хлопает дверь, доносится едва слышные шаги. Сторож встает, негромко окликает:

— Кто?

— Я это, я... Не можете без крика, Михаил Аркадьевич? — Из тьмы выходит невысокий, щуплый человек. — Ну-с,

товарищ полномочный представитель при керосине, пора за дело!

— Вы все шутите, капитан! — Сторож ставит ружье к стене, возится с замком.

— Ах, не хотите быть товарищем? Или вас смущает должность при керосине?

Сторож распахивает дверь.

— Полно вам, капитан! — и оба скрываются за дверью. Слышен грохот отодвигаемого железа.

Капитан волочит по кирпичному полу бидон, скрывается во тьме. Оттуда, от входа в цех, доносится его голос:

— Теперь жгите!

Что-то загорается в складе — сторож, забыв ружье у стены, бежит к выходу из цеха. В складе — грохот разрыва, пламя с треском взмывает вверх — у входа в цех огненные языки лижут деревянные полки, ящики с инструментом, дверь.

Теперь в цехе светло, песет клубы едкого черного дыма...

* * *

Морозная почь. Бегут люди. Воем надрывно сирена. Еще люди — кто-то кричит:

— Сторожа, сторожа спасайте! Он внутри был!

Пылает прогонный цех.

Люди тащат упирающегося сторожа.

— А вот он, голубчик! Куда же ты, шкура, от цеха бежал?

— Разорвем! В землю втопчем!

— Не трожь его, ребята! Тащи в ЧК!

* * *

Салон-вагон Дзержинского. За окнами ночь. У большой карты железных дорог Сибири — Белов. Он сверяется со справкой и не спеша накалывает флажочки с цифрами на карту.

Дзержинский сидит за столом, пишет, потом выходит к карте, смотрит.

— Что же, Александр Фадееч, теперь видно, и сколько составов за день погружено, и как они проходят по дорогам. Прямо скажем, пока картина невестая.

— Да, на сегодня успехов нет.

Дзержинский смотрит задумчиво на редкие флажочки на карте.

* * *

В комнате полумрак: на абажур брошена шаль, и мы не можем рассмотреть лиц тех двух мужчин, что чаевничают за столом.

Один из мужчин ставит на стол стакан в тяжелом серебряном подстаканнике, в круг света попадает крупная, холерная рука, манжет белой сорочки с запонкой. Он спрашивает:

— Сколько времени толкутся товарищи чекисты вокруг сгоревших мастерских?

— Неделя. Взяли поручика Каверзнева — бедняге не повезло... Но он твердит, что хотел украсть керосин, а лампа разбилась. Чекисты пока даже не догадались, что поручик служил в корпусе Капеля.

— А вы, капитан, как ушли?

— Я же у них дежурный по стапции, я тревогу сам поднял, мне — вера полная.

— Передайте в Омск, что руководство «Центра действий» в Париже будет извещено о вашей акции. Наш областной центр оценивает ее высоко. Кстати, каким из ваших комитетов она проведена — военным или железнодорожным?

— Оба комитета действовали совокупно.

— А чем занят ваш гражданский комитет?

— Вербует людей из числа инженеров, учителей и прочих, не приемлющих гнусную действительность Совдепии.

— Но ведь НЭП оживил торгово-промышленную жизнь! Как относится к НЭПу ваша организация?

— При чем тут НЭП? У нас два лозунга: «Ворвать власть из рук большевиков!» и «За автономную Сибирь!» Все остальное, извините, пудра на чумные язвы, испятнанные лик России по милости большевиков!

— В Сибирь прибыл Дзержинский. Он

будет брать хлеб, без которого большевикам не выжить. Может ли ваша организация осуществить несколько нападений на продовольственные эшелоны?

— А если вы, Сергей Павлович, не дадите ему хлеба?

— Будто это так просто — взять да не дать! Вынуждены дать! И сжечь не сможем! А вот вы на перегопах, на линии — жгите! И эшелоны, и пакгаузы... Теперь скажите: вам известно о движении литерного поезда Дзержинского?

Капитан сосредоточенно смотрит на Крылова, потом говорит:

— Вы хотите... А кто будет исполнять?

— Это не ваше дело, капитан!

— Да, да, понимаю... Я попробую... Это не так просто, но я попробую...

— Когда обратно в Омск?

— С первой оказией. Мне-то легко, я при железной дороге состою, транспортная ЧК и поспособствует.

* * *

ТИТР: ОМСК, 10 ЯНВАРЯ 1922 ГОДА.

Ночь. На запасной путь станции Омск медленно втягивается, лязгая на стыках стальным металлом, литерный поезд.

Меж путями стоят двое — один высокий, хмурый, с бородой, в роскошном ворсистом полукальто, на лице его поблескивает пенсне. Это Архангелогородский, начальник Сибирского округа железных дорог. Другой — все еще в армейской шинели с «разговорами», в высокой буденовке. У него черные, чуть навывкате глаза, густая, не влезающая под буденовку шевелюра. Это Назарьян, комиссар округа.

Состав дернулся, тормозя, — на подножки тут же высыпали часовые. Рокотов, нависая над встречающими, приглушенно спрашивает:

— Назовите себя, товарищи?

Назарьян с оттенком обиды:

— Кто еще кроме нас будет среди ночи торчать на запасных путях? Вот он — товарищ Архангелогородский, а я — Назарьян.

Рокотов спрыгивает в снег; пути давно не чищены. Обида этих двоих не трогает его: он исполняет долг. Поднимает в левой руке переносный фонарь:

— Прошу предъявить мандаты.

Назарьян сумрачно бросает:

— Это ни на что не похоже. Доступ к товарищу Дзержинскому в Москве был проще!

И на этот выпад часовой не реагирует: он хорошо знает свое дело. Лишь удостоверившись, что перед ним точно те люди, которым приказано прибыть, он делает шаг в сторону от ступенек:

— Проходите, товарищи. Товарищ Дзержинский ждет вас.

* * *

Дзержинский устроился у стены, между окнами вагона: он очень хочет, чтобы эти двое не считали, что их вызвали на суд и расправу. Слушая порывистого комиссара, Дзержинский не хмурится, на лице его только внимание.

— Нам нечем кормить людей: Сибпродком ежемесячно недодает до десяти тысяч пайков. Потому рабочие заняты самообслуживанием: сажают картофель, откармливают свиней, держат коров... До работы ли тут... Ни обуви теплой, ни одежды у нас нет, в чем ездит поездные бригады, сказать невозможно...

Дзержинский жестко усмехается:

— А комиссар не видит, как переломить стихию! По спискам у вас на 1 января было полторы тысячи паровозов. Сколько на ходу?

— Две трети. Остальные стоят, и ремонтировать нечем. По вагонам то же самое.

— Как же вы намерены вывозить хлеб за Урал?

Назарьян чуть заметно усмехнулся:

— Товарищ Дзержинский полагает, что один лишь его приезд в Сибирь может чудесным образом исцелить дорогу? У товарища Дзержинского есть палочка-выручалочка?

— У меня нет палочки-выручалочки!

Несут на руках часового — голова его беспомощно запрокинута...

Двое убегают к оставшейся на путях мотодрезине — вдогонку им грохочут выстрелы. Один падает на настил дрезины, другой скатывается вниз по крутой, заснеженной насыпи, вслед за ним — трое чоновцев:

— Держи! Хватай!

* * *

Ясный, морозный день.

В устье штольни «Семеновская» трудармейцы ставят стойки. Поодаль стоят Ливанов и Хромов. У Ливанова лицо замкнутое, Хромов после давшего разгоса чувствует себя смущенно:

— Зря он так шумел, Велликорецкий-то. До весны еще верных четыре месяца, у нас раньше мая тепла не жди, и два, и три раза успели бы укрепить устье. То ли власть хотел показать, то ли выслуживается...

Ливанов резко обрывает:

— Бросьте вы! Велликорецкий прав, он о людях печется, а вам самолюбие мешает его правоту признать! Знать бы мне ваше горнищкое дело, разве б я допустил?

Подбегает верхом человек в солдатской шинели, папахе, при сабле и нагае. Шагах в пяти от Ливанова спрыгивает с седла, берет коня под уздцы, подходит.

— Товарищ комроты, я старший милиционер района Прокопьевских штолен и всего поселка. Имею разговор с глазу на глаз!

Ливанов побймающе кивает, бросает Хромову: «Прошу прощения». Кричит, оборотившись к штольне: «Комвзвода Самойлов!» Кто-то откликается: «Я!»

— Остаетесь за меня!

* * *

Медленно идут к штабелям угля Ливанов и старший милиционер, за ними медленно ступает конь. Милиционер — молодой, разбитной, видно, только что демобилизован. Без горячности объясняет,

уверенный, что Ливанов все поймет, как нужно:

— Их до сорока человек. Всю осень гонял их ЧОН по уезду, а потом пропала банда, сгинула, как не было. А вчера мне весть принесли. Охотник у нас один ходил за Тыргай-гору и там на заброшенной пасеке высмотрел...

Ливанов понимающе, с улыбкой щурится:

— За трудармейцами, выходит, пожег лова?

— Вот именно, товарищ комроты. Лично-то вам ехать не обязательно, а мне бы человек двадцать...

— Так, а когда выступать?

— Сбор назначим на пять утра завтра, за два часа нас дед сулился довести, а как бой пойдет, заранее не скажу. То ли есть у них разведка и охрана, то ли нет... Может, скрытно подойдем и внезапно ударим...

— Кончали военную школу?

— Нет, товарищ комроты, не пришлось.

— Где же тактику изучали?

— Воевал, товарищ комроты, во Втором отдельном Уральском кавдивизионе, там всему научили.

— Ну-ну... — комроты смотрит уважительно.

* * *

Еще до рассвета старик в огромном лишем треухе вывел отряд к пасеке. Спешился, привязал коня к смутно белеющей березе. Сказал:

— Теперь разбирайтесь пополам, одним тут оставаться, других отведу вверх по реке — за пасеку. Кто со мной пойдет? Ты, что ли, Виктор, али ротный?

— Виктор, я бы рекомендовал вам и чоновцам остаться здесь, рассыпаться цепью по гребню лога и ждать. У моего взвода все же выучка выше, мы обойдем пасеку по речушке. Согласны?

В темь уходят Ливанов и проводник, за ними по двое следуют бойцы... Тишина, только ветер шумит над черными верушками берега.

* * *

На пасеке все тихо, там не знают, что их окружают. Но вот из избушки выходит человек — это ротмистр Твердов. Он отходит за угол, тут же возвращается: где часовой? Быстро идет по набитой тропе к дальнему краю пасеки — там поляна, усталая петропугавым снегом, круто обрывается к речушке. И в занявшемся уже утре ротмистр видит, как, увязая в глубоком снегу, неотвратно движется на него жидкая цепь... Ротмистр судорожно глотает воздух — секунда, другая... Он бросается к избушке:

— Чекисты! Часовой! Рожи сивопашные, проспали!

Цепь идет на сближение, обходя крутой обрыв, левый фланг цепи уже оседлал дорогу. Среди бойцов, в цепи, выплывает Ливанов с паганом стволом вниз...

Грохот выстрелов — банда открыла огонь. Ливанов командует: «Ложись!» — и сам падает в снег. — «По банде, беглый, целься точнее! Огонь!».

* * *

Ротмистр — он лежит в снегу — приподнимается, оглядывается. На тот край поляны, метрах в двухстах, дружной гурьбой высыпают чоповцы. Ротмистр вскакивает, в три немыслимых прыжка оказывается в омшанике. Один за другим еще четверо перебегают туда же под огнем — дверь захлопнулась. Остальным бандитам до омшаника уже не добежать: трудармейцы и чоповцы с двух сторон ударили в штыки, началась свалка.

Ливанов и милиционер, стоя за безразличными метрах в ста от омшаника, по очереди кричат тем, кто засел за бревенчатыми стенами:

— Сдавайтесь! Сдавайтесь, вы, там, и живы будете! Не то пулеметом порежем!

Из омшаника доносится виртуозная офицерская брань:

— Эй, на поляне! Что вы ползаете, как беременные вши по бритой заднице!

Встать всем во фронт, сейчас будут умирать русские офицеры!

Ливанов сокрушенно:

— Эх, гранатку бы сюда!

Милиционер откликнется:

— Есть у меня одна... На край берег. Прикрывайте!

Он ползет к омшанику, все ближе и ближе. Грохочут с обеих сторон выстрелы. Метрах в двадцати от покосившегося, подгнившего омшаника милиционер поднимается на колени, резко бросает гранату в дверь и снова падает в снег.

Взрыв срывает дверь с петель, крыша оседает внутрь, осыпается земля, перемешанная со снегом. Бревна стен расходятся, но омшаник еще стоит, еще держится, и издевательский голос ротмистра доносится до Ливанова:

— Эй, краснопузая сволочь, и убить-то толком не умеете! Это вот как делается!

Гремит выстрел — милиционер, перед тем приподнявшийся, чтобы посмотреть результат взрыва, утыкается головой в снег.

Ливанов кидается туда, его обгоняют трудармейцы и чоповцы, лезут под бревна, вытаскивают и укладывают рядком в снег трупы ротмистра и еще двух бандитов, потом вытаскивают остальных.

Ливанов наклоняется к одному — совсем маленькому, в колушке и пимах. Пораженный, отшатывается...

...И полная тишина, из которой пахнет, обрушивается грохотом вальс, и из тьмы проступает прекрасное смеющееся лицо не то девушки, не то девочки-подростка — крепко держат друг друга Ливанов и эта черпоглазая девочка-подросток в черном воздушном платье с серебряными блестками, и кружатся самозабвенно в огромном зале под светлыми люстрами...

И снова тишина, только губы Ливанова, наклонившегося над кем-то в колушке, шепчут:

— Господи, что же это?

И сразу слышен говор на поляне — старик в лисьем треухе командует:

— Да не трясите вы его, душегубы! Кладите ровнее! — В сани кладут бесчувственного милиционера.

В стороне, на пенечке, сидит огромный парень, сжимает губами снег с ладони... На снегу, под охраной, сидят захваченные бандиты.

Ливанов, ничего не видя и не слыша, опускается на колени рядом с тем маленьким, торопливо расстегивает кожаный шок, китель, кладет руку на грудь, оглядывается на старика.

— Ах ты, господи! Настуся!

Слова тишина и ночь на экране — из темного провала выплывает комната. Кипит застолье: три офицера, три женщины — одна из них Настуся, и она на коленях у подполковника. Рюмка в ее руке наклонилась, вино плещет на мундир, на погоньи... Кто-то из женщин кричит: «Так нельзя, так нельзя, Настуся! Все пьют на брудершafft!»

Настуся пытается встать, вырваться, но не может: рука подполковника обвила талию Настуси... И вдруг все взрывается: чей-то кулак опускается на голову подполковника. Это разъяренный Ливанов — он хватается за руку, отбрасывает ее в сторону, снова бьет в лицо вскочившего подполковника — тот отлетает к стене, и Ливанов — он тоже в кители, с погонами штабс-капитана, — выхватывает паган, кричит вне себя от боли и ярости:

— Свищи! Сноили! Сволочи, как смеете! Вон из моего дома! Расстреляю!

Что-то случилось у Ливанова с глазами, он с трудом приходит в себя. Оглядывается — из серого тумана проступает все та же насека. Чоповцы и трудармейцы сбивают бандитов в колонну, старик в лишем треухе разворачивает коня — в сани лежит милиционер...

Ливанов трет снегом лицо Настуси.

— Ах, боже мой, зачем ты здесь? — Поднимает, несет ее к саям, навстречу деду. — Дед, и ее бери! Она живая еще. — Он бережно опускает Настусю в сани,

рядом с милиционером, кричит огромному чоповцу:

— Давай и ты с ними! Женщину постереги, а мы этих пешком погоним.

* * *

Уполномоченный дорожной ЧК на Новостройке — поджарый, в движениях резкий. У него четкий косой пробор и ничего не выражающие, вроде бы ко всему безразличные глаза. Он и Ливанов сидят друг против друга в полутемной теплушке — здесь чекист живет, здесь и его кабинет.

Чекист говорит голосом тусклым и усталым:

— Зря вы все это затеяли... С этим не падо было приходиться и вызывать меня не падо было. Это все нам известно. И что у белых прежде служили, и что к нам перешли, в Красной Армии воевали...

— Да, конечно. А про Анастасию Перлович тоже все известно?

— Ничего не известно, только толковать о ней с вами я не намерен. Взята в банде, пойдет под трибунал. Она уже очухалась, отправим завтра же в Томск, в губчека.

— Да я и не собираюсь спорить. Но свидетельские показания неужто вам не нужны?

— Свидетель? А какой из вас свидетель? Вы разве имели отношение к банде ротмистра Твердова?

Ливанов — тихо, словно самому себе:

— Что Твердов! Подполковник Лукомский подлее враг!

Глаза у чекиста становятся колючими, настороженными:

— При чем тут Лукомский? Вы знакомы с Лукомским?

— Ах ты, господи! О том и речь! Анастасия — сестра мне двоюродная, у нас в семье воспитывалась. Пока я тифозный бред в госпитале перемогал, Лукомский ее к рукам прибрал, сволочь! Он, когда из Новониколаевска бежал, Анастасию с собой увез — силой. А позапрошлым летом мы по Горной Шории за Лукомским го-

нялись, и люди по селам говорили, была в его банде женщина... Совсем, говорили, опустилась, вечно пьяная... По всему судя — она, Анастасия... Так должна она знать, куда Лукомский подевался летом двадцатого?

Теперь чекист смотрит на Ливанова уважительно.

— Ты, товарищ, сердца на меня не держи. Я поначалу не того, не о том подумал... Померещилось — мол, смазливую мордочку увидел и решил счастья попытать... Ну, что станем делать с вашей Анастасией?

* * *

В углу теплушки сидит, словно крохотная черная пчелка, Анастасия — она не понимает, где она, что с ней происходит, не узнает Ливанова. У нее белое прозрачное лицо, незрячие глаза, голова острижена, как у тифозной.

Ливанов говорит тихо, словно самому себе:

— Никогда... Понимаешь, никогда, даже в тифозном бреде не думал увидеть тебя такой!..

Женщина не поднимает головы, что-то бормочет, потом произносит надтреснутым, хриловатым голосом:

— Что-то я не пойму... Такой, значит, не ожидал... Какой же?

— Настуся, Настуся, что с тобой?

Женщина порывисто встает, делает шаг вперед.

— Ты сказал — «Настуся»? Откуда знаешь это имя?

— А ты разве меня не узнаешь? Ведь я — Алеша.

Настуся недоверчиво улыбается, успокоенно садится.

— Какой ты Алеша? Алеша был штабс-капитан, святому делу служил и на Тоболе сгинул. А ты — чекист.

— Вот видишь — не сгинул, а святому делу лишь теперь служу... — Он подходит к Настусе, садится рядом с ней на скамью. На лицо его падает из окошка скупой свет. Говорит доверительно:

— А знаешь, меня чуть не убил негодяй Лукомский...

Женщина тут же замыкается — лицо отчужденное, губы плотно сжаты, глаза закрыты.

— Что же замолчала? Или станешь уверять, будто никогда не знала Сержа Лукомского?

Из закрытых глаз женщины катятся слезы — она их не замечает, не чувствует. Сидит, словно окаменела.

Ливанов отходит от двери, берет из ведра воды в алюминиевую кружку, подносит Настусе.

— Пей, сестренка. Худо ведь тебе?

Она открывает глаза, нерешительно протягивает руку, словно ожидая подвоха. Пьет жадно, неотрывно, украдкой исподлобья рассматривая Ливанова — его усы, коротко подстриженную бородку. Протягивает пустую кружку, говорит с сомнением:

— Странно мне все же... Чекисты, значит, и такие бывают?

* — Разные бывают. Только я — Алеша. Алексей Алексеевич Ливанов, командую ротой в Трудовой Сибирской армии. А ты, Настуся, мне двоюродная сестра...

Женщина пораженно молчит. Потом, прижав к груди сжатые кулачки, все еще не веря, спрашивает:

— Ты знаешь ли, кто первым меня назвал Настусей?

— Я и назвал, на рождественском балу двенадцатого года.

— А в чем я тогда была?

— И платье черное с серебром, матушка моя у госпожи Шевяковой заказывала.

Теперь женщина смотрит на Ливанова расширенными от ужаса глазами. Губы ее шепчут: «Алеша... Помилуй меня, господи...» Опрокидывая скамейку, она молча падает на пол.

* * *

Чистый, светлый кабинет Крылова, заместителя председателя Сибпродкома. На нем защитный, английского покроя дву-

бортный френч с накладными карманами, над левым алеет орден Красного Знамени в шелковой розетке. Из-под френча видна белоснежная сорочка с черным галстуком.

Крылов, чуть склонив голову, внимательно слушает инженера Великорецкого.

— Товарищ Крылов, я побывал на Новостройке... Я должен поставить вас в известность: Томский губпродком ведет губительную политику! На Южных коях, в Прокопьеве и Киселеве, нет запаса хлеба! Кормят, что называется, с колес, а завоз крайне перегулярен. Томский губпродком держит трудармейцев на голодном пайке, а ведь они добывают уголь...

Крылов чуть улыбается:

— В Сибири нет голода, голод — в Поволжье, и наша главная задача — перебросить хлеб и мясо за Урал. Все силы, все вагоны — на это!

Великорецкий смотрит оторопело:

— Ну разумеется, разумеется... Но ведь и трудармейцев надо кормить! На них же выделены пайки! Отчего же им не дают?

— Дают. Сколько положено — по норме. А вообще я хотел спросить... Простите, как вас?..

— Петр Евгеньевич.

— Хочу понять, Петр Евгеньевич, откуда у вас, бывшего профессора Томского университета, известного в царские времена инженера-геолога такая горячность к большевистскому делу? Что за этим кроется?

Великорецкий смотрит пораженно.

— Как вас понимать?

— Вот так и понимать! Делаете карьеру? Выслуживаетесь?

Великорецкий возмущенно поднимается:

— Я, милостивый государь...

Крылов издевательски улыбается:

— Я вам не «милостивый государь»! Я большевик, краснознаменец! Я воевал за Советскую власть и стрелял всякую белопогонную и прочую профессорскую сволочь! И я не позволю вам порочить ра-

боту Сибпродкома! Идите, идите, профессор, и не вздумайте обращаться по всяким инстанциям! Не то привлеку за клевету к революционной ответственности.

* * *

ТИТР: НОВНИКОЛАЕВСК, 21 ЯНВАРЯ 1922 ГОДА.

К перрону медленно подходит литературный поезд. От пронизывающего ветра у встречающего застыло лицо и слезятся глаза, но он стойчески ждет. Это тридцатичетырехлетний полпред ВЧК по Сибири Иван Петрович Павлуновский. Не дожидаясь, пока поезд остановится, с подножки спрыгивает Рокотов, делает два-три шага по ходу поезда, подносит руку к козырьку кожаной фуражки:

— Здравствуйте! Прошу назвать себя.

Павлуновский называет: «Полпред ВЧК по Сибири Павлуновский», достает удостоверение. Часовой внимательно читает, пристально смотрит в лицо чекиста, кивает:

— Проходите, товарищ Дзержинский ждет вас.

* * *

Дзержинский встречает Павлуновского у двери салон-вагона, протягивает руку, улыбается:

— Здравствуйте, Иван Петрович! Давненько мы не виделись!

— В этом году еще не встречались, товарищ Дзержинский!

Оба смеются — они давно и хорошо знакомы.

Павлуновский докладывает:

— Положение сейчас такое: с кулацкими мятежами в Сибири покончено. Летом двадцатого года особое беспокойство вызывала крупная, сплошь офицерская банда подполковника Лукомского. Осенью банда распалась, Лукомский исчез. На этих днях близ рудника Прокопьево ликвидирована банда ротмистра Твердова. Летом двадцатого года, после трагедии в Анзасском лесхозе, Твердов откололся от Лукомского. Но в банде Твердова по-

чему-то оказалась Анастасия Перлович, известная нам как любовница Лукомского. Допрос ее на месте ничего не дал. Ее конвоируют к нам, в Новониколаевск.

Дзержинский чуть склопает голову.

— Почему Лукомский вызывает интерес?

— Лукомский ушел из банды не один, а вместе с бывшим командиром эскадрона ЧОН Крыловым. Видимо, все было подстроено: Лукомский опытный контрразведчик. И если он вернулся, легализовался, имеет опору... Это будет драться беспощадно, до конца.

— Так, ваши опасения обоснованы, с Перлович есть смысл поработать. А как относится к Советской власти крестьянство Сибири в целом?

— Декрет о НЭПе сильно разрядил обстановку. Ни бедняк, ни середняк против нас сейчас не пойдут. На кулака мы пажать можем и добрать еще пять миллионов пудов хлеба, но за эти пуды кулак станет драться. Политический и военный урон намного превысят экономическую выгоду. Такова точка зрения полпредства ВЧК.

— Видимо, вы правы. А как полпредство оценивает работу Сибпродкома?

— По всем губерниям недовольство. Чванство, развал, неповоротливость. Есть фонды, есть хлеб. Но они держат на голодном пайке железные дороги, колы, трудовую армию. Никак не докопаемся, что здесь: скрытый саботаж или откровенное головотяпство... У меня еще один вопрос. Вот письмо — это обращение бывших главварей Крестьянского союза к Советской власти. Они у нас в тюрьме. Заявляют об отказе от дальнейшей борьбы против нас и требуют освобождения...

Дзержинский улыбается:

— Любопытно, весьма... — Берет письмо, пробегает глазами. — Оставьте у меня, после заседания Сиббюро мы к нему вернемся. Как они себя чувствуют, Игнатьев и Тагунов-Ельшевич?

— Хотите увидеть кого-то из них?

— Возможно... Если будет толк. С

эсерами разговаривать — пуд соли надо съесть. Как вы их содержите?

— С полным тюремным комфортом, товарищ Дзержинский.

* * *

Крохотный кабинет Куимова на станции Макушино.

Чекист, присев, возится у «буржуйки». Подбросив пару полешек, подходит к сидящему у столика человеку — тот в пальто, в руках мнет барашковую шалку. Ему явно не по себе.

Куимов берет со столика исписанные листочки. Пробежав их глазами, снова кладет на стол. Придвигает табурет к человеку в пальто, садится рядом.

— Ну что вы так нервничаете, Виталий Андреевич? Вот сейчас привезут начальника разъезда, и все выяснится. И не дай бог, если он посмел...

Виталий Андреевич зябко передергивает плечами: его знобит.

— Будет очная ставка?

— Вы боитесь?

— Я? Нет, нет... Ради двухсот детей...

Распахивается дверь, врываются клубы морозного воздуха, через порог ступает рослый, уверенный в себе человек в полушубке, сапогах, снимает с головы форменную железнодорожную фуражку, потирает правое ухо.

За ним входит, молоденький чоповец с вилптовкой, замирает у двери. В комнате сразу становится тесно.

Вошедший бросает зоркий взгляд на Виталия Андреевича, поворачивает к Куимову начальственное лицо:

— Надолго вам надо было? А то жду мужиков и трудармейцев, пути чистить...

Куимов — серьезно:

— Обойдется пока без вас. — Кивает на Виталия Андреевича. — Сколько суток стоит на разъезде его эшелон с детьми?

— Нажаловался, что ли? А того в толк не возьмет, что все паровозы отдапы под продовольствие...

Куимов сдерживает жестом вскинувшегося Виталия Андреевича.

— Постойте! — Оборачивается к начальнику разезда. — А вы меня за дурачка, что ли, держите? Я что, не знаю, сколько паровозов идет в сутки с хлебом на Урал, а сколько порожняком в Омск?

Начальник разезда соглашается:

— Конечно, конечно, все паровозы на плече считанные.

— Так сколько они у вас стоят? — Куимов снова кивает на Виталия Андреевича.

— Ну, сколько... Сегодня, пожалуй, седьмой день.

— Почему угля им не даете?

— У меня на них, уголь не запасен. У самих — в обрез.

— А воду они откуда берут?

— Почему я знаю? Не моя забота...

Виталий Андреевич не выдерживает — резко встает, тычет пальцем в грудь начальника разезда:

— Вы законченный мерзавец! Ведь в эшелоне дети! Их собрали со всей Самарской губернии! Их осиротил голод! А вы неделю морозите их без тепла и воды! И будете морозить, пока я не откуплюсь от вас детскими пайками! Конечно, мерзавец! — оборачивает гневное лицо к Куимову: — Вчера так и сказал: «Паровоз нынче дорого стоит, а ваша перевозка внеплановая». Вон, говорит, мужики за теплушку до Омска миллион платят, а вы за паровоз чем расплатитесь? Разве что пайками...

Виталий Андреевич садится, достает платок, вытирает горящее лицо.

Начальник разезда презрительно поджимает плечами.

— Ему долго позволено клеветать?

Куимов усмехается:

— А я ведь знаю уже, что братья Хвастовы из Головкина уплатили полтора миллиона за теплушку, возили на рождество в Омск, на рынок, муку да телятину, да гусей... Вот я их и спрошу: кому деньги давали. Скажут?

* * *

Невысокое двухэтажное здание, у входа часовая. Здесь располагается Сиббюро ЦК РКП большевиков. По широкой лестнице быстро поднимаются Дзержинский и Павлуновский. Идут по коридору — Павлуновский распахивает дверь справа:

— Сюда, пожалуйста!

ТИТР: НОВНИКОЛЕВСК, 22 ЯНВАРЯ 1922 ГОДА, ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СИББЮРО ЦК РКП(б).

Дзержинский — Павлуновскому:

— Познакомьте меня с членами бюро, прошу вас.

Павлуновский представляет кряжистого человека с вислыми хохлацкими усами и черными, чуть припухлыми глазами:

— Товарищ Ходоровский... В октябре семнадцатого дрался с белыми в Москве, в девятнадцатом — член Реввоенсовета Южного фронта — секретарь Сиббюро...

Дзержинский пожимает руку Ходоровскому, а Павлуновский продолжает:

— Товарищ Зырянов... В колчаковские времена председатель Восточно-Сибирского подпольного комитета партии, в двадцатом — член Дальбюро ЦК... В Сиббюро ведет промышленностью и транспортом...

Дзержинский, пожав руку Зырянову, поворачивается к Чуцкаеву:

— Ну, а вас я знаю: вы — Сергей Чуцкаев. Вы были у меня с докладом по делу князя Львова в восемнадцатом году.

Павлуновский:

— Товарищ Чуцкаев — член Сиббюро и председатель Сибревкома.

Рукопожатие — все рассаживаются вокруг стола, только Ходоровский остается стоять. Он берет несколько листов, говорит, изредка сверяясь с записями:

— На бюро вынесен один вопрос: продналоговая кампания. К 15 февраля будет собрано тридцать три миллиона пудов. Это есть предел, перешагнуть который мы не можем, не рискуя утратить поли-

тическую и военную стабильность Сибири. Недобор против плана пять миллионов пудов. Прошу высказать соображения.

Чуцаев, не поднимаясь с места, бросает:

— Мы не имеем права провоцировать кулацкие мятежи! Продналоговая кампания подходит к концу, и мы обязаны это признать.

Зырянов резко вскидывает красивое, первое лицо:

— Но мы не имеем права и давать потачки кулаку! Даже если придется пустить по селам продотряды! Иначе нам не спасти Республику от костлявой руки голода!

Павлуновский слушает невозмутимо, когда Зырянов умолкает, говорит спокойно:

— «Нажим» даст нам мятеж. Мы снова ввяжемся в малую войну с большой кровью. А миллионы уже собранных пудов хлеба между тем будут в лучшем случае лежать вдоль дорог, ибо товарищ Зырянов не в состоянии организовать вывоз, а в худшем случае снова станет добычей мятежников, как в двадцать первом году. Отчего бы товарищу Зырянову не заняться шахтами? На Прокопьевском руднике лежат сотни тысяч пудов угля, добытого невероятным трудом!

Зырянов не может — или не желает — скрыть раздражения:

— Откуда цифирки о завалах угля в Прокопьеве?

— От инженера Великорецкого.

— Он еще не представил отчета. А Иван Петрович уже цифирью запаса!

Ходоровский стучит карандашом по стакану.

— Нет порядка! Товарищ Дзержинский, у вас есть мнение?

Дзержинский, как и все на бюро, говорит сидя:

— Мнение есть. Удивлен, что Сиббюро до сих пор не возбудило вопроса перед Центром, чтобы уменьшить на пынешний год объем продналога для Сибири. Оста-

новиться на цифре, которая будет собрана к 15 февраля. Все силы бросить на уголь и на железную дорогу. Предложения по этим двум проблемам хотел бы представить завтра-послезавтра. Если члены бюро не возражают.

Ходоровский поднимается.

— Ставлю на голосование...

* * *

Комната прямой связи в здании Сибревкома. За окном стучаются ранние сумерки. Телеграфист поднимает голову от аппарата:

— Москва, наркомпрод товарищ Брюханов на проводе.

Ходоровский:

— Передавайте: у аппарата секретарь Сиббюро ЦК Ходоровский. Сиббюро ходатайствует перед наркомпродом закончить продналоговую кампанию по всей Сибири к пятнадцатому февраля. Недобор пять миллионов пудов отнести недоимкой будущего года.

Стрекошет аппарат, телеграфист вслух, раздельно читает по бегущей ленте:

«Затяните продкампанию до марта и соберите все 38 миллионов пудов. Послаблений кулаку быть не может».

Ходоровский, засунув ладони за широкий офицерский пояс, закусывает левый ус, тут же выдувает его изо рта, вполголоса бросает: «Щоб тобі биса у печенку!» Диктует:

«Товарищ Дзержинский ознакомился с положением на месте, пашу позицию одобрил».

Наркомпрод Брюханов отреагировал сразу же:

«Прошу передать товарищу Дзержинскому, что в его ведении ВЧК и Наркомлут, вопросы обеспечения Республики хлебом возложены на Наркомпрод».

Ходоровский кивает:

— От отбрил, бисов кус! Передавайте!

«Сиббюро лучше видит нашу ситуацию. Добрать хлеб сейчас не можем. Вынуждены апеллировать в ЦК. Ходоровский».

Скромный кабинет полпреда ВЧК по Сибири. Держинский и Павлуновский ждут, когда приведут Тагунова-Ельшевича. Павлуновский достает из сейфа письмо лидеров Крестьянского союза, Держинский берет его и вдруг произносит:

— Иван Петрович, я намерен ввести вас в свою комиссию. Хочу поручить вам борьбу с разгильдяйством на железной дороге. Как вы относитесь к моей мысли?

— Я имею право поблагодарить за доверие и отказаться за немоцию?

Оба смеются, Держинский кивает:

— Значит, решили.

Распахивается дверь, вводят сухопарого человека лет шестидесяти. Он садится с достоинством, снимает пенсне, укладывает его в кожаный футляр. Обращается к Павлуновскому:

— Гражданин председатель Сибчека, вот уже две недели, как я по поручению группы Крестьяноуза...

Павлуновский — строго:

— Обращайтесь к Феликсу Эдмундовичу! И нечего делать вид, будто вы не узнали Держинского!

Тагунов-Ельшевич достает пенсне, смотрит на Держинского.

— В каком качестве намерен разговаривать со мной гражданин Держинский? Держинский охотно откликается:

— Я представляю в Сибири ВЦИК и СТО. Кроме того, я все еще председатель ВЧК и Наркомпути. Выбирайте.

— Я выбираю представителя ВЦИК.

— Согласен. Вы, я вижу, хотите перевести разговор в сферы высокой политики, чтобы не касаться деталей, интересующих ЧК. Но я готов.

Тагунов-Ельшевич говорит сначала медленно, потом все более и более воодушевляясь:

— После отмены разверстки, после того, как Соввласть декретировала право крестьянина на свой труд, после допущения свободного товарообмена — после всего этого у Крестьяноуза нет существ-

ных противоречий с Советской властью. Отсюда делаем мы один возможный вывод: исчезают стимулы к вооруженной борьбе с властью. Следовательно, прекращается перманентное состояние гражданской войны. Мы хотим работать с Советской властью и просим освободить нас из тюрьмы.

Держинский смотрит на Тагунова-Ельшевича с интересом.

— У вас, значит, нет разногласий с Советской властью? Вы готовы сотрудничать? А на какой базе? Вы принимаете наши лозунги или все еще стоите на своих? Как быть с Учредительным собранием?

— Мы думаем, что с течением времени должна сложиться обстановка, при которой созыв Учредительного собрания станет и возможен, и необходим.

— Так! А вы будете способствовать созданию такой обстановки в союзе с вашим любимцем, колчаковским полковником и монархистом Густомесовым!

— От Густомесова Крестьяноуз отмежевался!

— Но Густомесов возглавлял вашу военную организацию. После чудовищных зверств Ишимского кулацкого мятежа Советская власть не может отделить офицеров Густомесова от кулацких дружин вашего Крестьянского союза!

— А вы все же перевели разговор на вашу сугубо чекистскую почву!

— Вас это удивляет? А вот скажите: почему в письме нет подписи Михаила Степанова, вождя вашей Повониколаевской группы?

Тагунов-Ельшевич отводит глаза.

— Что же вы замолчали? Степанов отмежевался от своего Густомесова? Готов ли он раскрыть в Сибчека оставшихся на свободе участников антисоветского подполья?

Тагунов-Ельшевич молчит.

— Так! Значит, сотрудничество с нами там, где вам выгодно, и противоборство по другим линиям! При таких обстоятельствах я не могу взять на себя ответствен-

пость и дать указание о вашем освобождении. Право апеллировать во ВЦИК остается за вами. Это все, что я могу вам сказать.

* * *

Салон-вагон Дзержинского. 12 часов ночи. На докладе Белов и Глузман. В руках Белова папка, он ждет, пока Дзержинский закончит писать. Едва Дзержинский кладет ручку, произносит:

— За истекшие сутки прошло на Урал 135 вагонов с хлебом и мясом. Загружено продовольствием по всем дорогам 732. Паровозов из ремонта выпущено 22.

Дзержинский кивает.

— Что с углем?

— Вот данные по углю: общий запас по дорогам на трое суток, погружено за истекшие сутки еще двести тысяч пудов, на колесах тысяча вагонов с углем.

— Спасибо. Сводки оставьте, я еще посмотрю. Что у вас, товарищ Глузман?

— Военно-транспортная коллегия рассмотрела дело о вымогательстве взятки начальником разезда Боксары Омской дороги Сухановым. Взятку вымогал у начальника эшелона с эвакуированными детьми врача Костица. Ранее брал взятки у крестьян за предоставление вагонов под частные перевозки: ДТЧК установила три факта.

— Что решила коллегия?

— Суханов приговорен к расстрелу.

— Согласен. И надо ударить по всем закомиссарившимся чинушам, которые держали мерзавца на должности. Надо гнать их прочь! Только пусть сначала разберутся, не делился ли Суханов с ними полученной мздой. На разбирательство — двое суток.

* * *

Идет неспешно эшелон с углем — поскрипывает на ходу прицепленная в конце состава теплушка.

Анастасия, забившись в угол, искоса поглядывает на сидящего близко — сов-

сем близко! — Ливанова: она боится его рук, его взгляда, его улыбки.

— Нет, Алексей, ты все не понимаешь! Твое благородство и великодушие — не по адресу! Что ты обо мне знаешь? На мне клеймо! Я два года по тайге... А куда же мне было деться? В чека, что ли, сбежать? Под расстрел?

Ливанову мучительно хочется успокоить, приласкать ее, но он не умест, не знает, как.

— Не то, Настуся, не то все ты... Революция — такое великое чистилище... Что Данте! Революция никому зла не приносит, только иди в нее с открытой душой... А Лукомский — он садист, зверь лютей! Его найдем — и очистишься!

— Ах, Алеша, пойми, я жить не хочу, мне самой себя касаться противно... Убили бы меня там, на пасеке, — великую бы мне милость оказали!

— Молчи, Настуся, молчи!

— Да пойми же ты! Мне Лукомского укрывать не с руки! Я лучше тебя знаю, какой он подлец! И кровь на мне — тоже из-за него...

В глазах Ливанова ужас.

— Кровь? Что ты песешь?

— Думаешь, я та девочка, что резвилась на рождественском балу? Давно уж я другая... Ты еще в четырнадцатом воевать ушел, а тут этот Лукомский... Ну, ладно, откроюсь, я... В двадцатом Серж привел своих в Апзас, мы там два дня стояли, и вот Серж говорит — идет сюда полускадроп, идет по наши души. В открытом бою нам их не одолеть, но есть выход: устрой гулянку, угости комэска, оставь у себя на ночь... Я, когда поняла, что он удумал, возмутилась: «Подлец! Су-тенер!» Он меня по лицу... «Ты, — кричит, — ономпись! За нами смерть идет! Меня вне закона объявили, тебя разве помилюют? Делай, что велю!» Я и сделала...

* * *

По берегу, по гальке бежит к воде Анастасия:

— Се-е-ря! А я?

Лукомский стоит на карбасе. Прохор, его давний денщик, упираясь шестом в дно, останавливает лодку. У их ног лежит связанный комэск. Лукомский смеется:

— Тася, дуся, давай начнем новую жизнь! Мы уходим с комэском, при нас двоих ты состоять не можешь! Поцелуй бравого комэска на прощание и выбирай: либо остаешься здесь дожидаться следующего комэска, либо поплывешь с ротмистром Твердовым и поступишь в его полное распоряжение! — он машет рукой, Прохор на корме снова упирается шестом в дно — лодка плавно разворачивается, ее сносит стремительным течением под скалу.

К кромке воды подходит карбас Твердова — у людей на лицах мерзкие ухмылки; Анастасия, всхлиывая, кое-как усаживается на скамью. В два рывка карбас выгоняют на стремнину и уходят вверх по течению...

* * *

Кабинет Павлуновского. Анастасия смотрит на Председателя Сибчека, на Ливанова, зябко кутается в свой кожанок, просит:

— Алеша, водички бы мне... Зябко что-то... — поставив стакан на стол, вздыхает: — С Твердовым я пробыла до самой его смерти... Твердов лютей был к большевикам, так люди его говорили, а я с отрядом на их дела никогда не ходила, Твердов не допускал. Зачем, говорил, тебе-то рисковать? Нам, говорил, так и так прощенья нет, а долго не продержимся. Ну, год еще, чу два. А там все равно либо чекисты выловят, либо в бою убьют. А тебе-то зачем погибать? Живи, Тася, и после нас: по весне уходи, уезжай куда-нибудь, где тебя не знают.

Павлуновский задумчиво трет правую щеку:

— Вот значит, как полуэскадрон погиб... А скажите: готовы ли вы помочь нам в розыске Сергея Лукомского? Знае-

те ли вы его друзей по Новониколаевску? Назовете ли их?

Анастасия Перлович задумчиво смотрит на Ливанова, повторяет его слова:

— И это будет моим очищением? А нет, так расстрел?

Павлуновский и Ливанов переглядываются — Ливанов понимает, что ответа дать он не может. Павлуновский встает из-за стола, идет медленно по комнате — до стены и обратно, останавливается перед сидящей Анастасией.

— Вы, видно, не знаете: три месяца назад, к четвертой годовщине Революции, по всей Республике прошла амнистия. В любом случае мы не станем держать вас в тюрьме. Завтра, как оформим документы, так и отпустим. А за помощь в розыске Лукомского Сибчека будет вам признательна...

После долгой паузы Анастасия Перлович произносит:

— Если все так... Если так... Алеша, ты извини, что при тебе — об этом... Поймите, я любила Лукомского, давно, потом возненавидела... Что же мне его укрывать? Только худо мне сейчас, отпустите, бога ради, с допроса. Завтра с утра все скажу.

Павлуновский вызывает конвоира:

— Отведите ее в ту комнату, что рядом с дежурной частью. Устройте там на ночь.

* * *

Дзержинский и Белов медленно идут от вокзала, где стоит литерный поезд, мимо паровозного депо, мимо ждущих ремонта молчащих паровозов, мимо мастерских — вот и вытянувшиеся ископчатым хвостом теплушки, в которых живут беженцы. Они прибыли поздней осенью прошлого года из Саратовской губернии, да так и остались жить в теплушках: приладили сенки, лесенки, прорезали двери с тормозных площадок, вывели в окопца трубы «буржук», нарезали в полосе отвода огородинки, оплели их плетнями, пристроили к колесам кладовки...

Вечереет. Дзержинский и Белов останавливаются, смотрят — Дзержинский поражен: по снежной тропке снизу, из-под пазухи, шустро мчит простоволосая девочка лет шести, мелькают голые колени из-под драной юбочки, ни шубейки на ней, ни пальтеца, на ногах — невообразимые чуни.

Дзержинский нагибается, ловко подхватывает непугливую девочку — держа ее на левой руке, правой быстро расстегивает шинель, запахивает лапами голые ноги девочки.

— Откуда это ты? Совсем раздетая!

— Да и вовсе не холодно, а Васятка папашу пошел встречать, а мне уж терпеть невмоготу стало...

— Чья ж ты такая? Как зовут?

— Оля я, Смышлеева, мы все там живем.

— А в гости к тебе можно заглянуть?

— Не, мамка говорила, что в гости в прежние времена ходили, на чай с баранками, а пышке ни чая, ни баранок не бывает, на паек не дают.

Дзержинский обращается к молчаливому Белову:

— Вот, Александр Фадееч, как нас подловили. Правда, Оля, баранок нет. А что у нас есть, Александр Фадееч?

— Чай есть морковный и конфеты из глюкозы.

Оля — серьезно:

— Они вам все врут, конфетов тоже пышке не бывает, на паек только мармелад дают.

Дзержинский прижимает девочку.

— Да, брат, тебя не проведешь, все-то ты знаешь. Ну, пойдем к твоей мамке.

— А у меня нету мамки, умерла еще той осенью с голодухи, мы с Васяткой и папашей у тетки Капитолины живем.

* * *

Под потолком теплушки — лампа, в углу пристроился стол, над ним шкапчик с горшками и кружками, в соседнем, обитом железом углу — «буржуйка», на ней что-то шипит и булькает, у печки кучей

свален уголь. Здесь, в углу, жарынь, а стены вагона слезятся отпотевшей влагой...

У противоположного торца теплушки нары в два этажа, сверху нависают четыре детские головки: Оля и Васятка в обнимку, чуть поодаль Наташечка и Семка. Смотрят они зачарованно на стол, на котором кульки с конфетами и две пайки ноздреватого серого хлеба. Смотрят, перешептываются:

Васятка: «Чего им тут надобно?»

Оля: «Кто их знает, чего подлизываются».

Васятка: «Вот папаша придет, он их вытурит...»

Дзержинский сидит на лавке в расстегнутой шинели, шапку держит на коленях; Белов рядом с неизменным блокнотиком: не записывать он не может. Оба слушают преждевременно поблекшую женщину с простым, милым лицом:

— Я, товарищ Дзержинский, сейчас уже отошла, за детей не боюсь: эти в живых остались... У нас с Петром Силантьевичем еще трое за Волгой померли, у меня сыночек, а у него и сынок, и дочка, совсем уже взросленькая была. И мужа моего там схоронили, а Пелагея, сестра моя, Петра Силантьевича жена, тут уже померла... Но осени, как сюда приехали. Голод — он и есть голод, никого не милует, ни старого, ни малого... А теперь я вот на стрелке стою, мое дежурство почное, днем-то ребятшек обихаживаю. А Петр Силантьевич в депо, слесарем... Он вот сейчас явится, Васятке все сказал, собрание у них там, в клубе Горького, шум какой-то по депо идет, недовольствие...

Распахивается дверь, прорезанная в торцевой стене — Смышляев входит — высокий, худой, но крепкий, смотрит на Дзержинского. Узнав, здоровается:

— Здравствуйте! Вот, оказывается, кто в гости пожаловал. А то иду, соседи говорят, мол, двое военных... Чего бы, думаю, ради? — он сбрасывает суконную

тужурку, сапоги, грохочет в углу, где буржуйка, умывальником.

Дзержинский вежливо ждет, пока хозяин ощутит себя готовым к разговору. Но вот Смынляев берет табурет, усаживается против Дзержинского.

Дзержинский спрашивает напрямик:

— Чем люди в депо недовольны?

— А, так вам известно! Но ведь не только в депо! Нас человек пятьсот собралось, со всего транспортного узла. А недовольны дурацостью начальника дороги! — Оборачивается к стоящей за его спиной женщине. — Капа, покажи товарищу Дзержинскому наш капитал!

Женщина лезет на нижние пары, установленные одеялами, вытаскивает мешочек — в нем глухо постукивают катушки. Петр Силантьевич запускает в мешочек руку, вытаскивает горсть катушек:

— Вот у нас чем платят. Катушка идет на девятнадцать тысяч рублей совзнакам, а у меня жалованье два миллиона, да у нее миллион триста тысяч. Ну, ясное дело, за паек вычет, половину жалованья деньгами, а половину вот этим. В ЕПО, Едином потребобществе, на девятнадцать тысяч отвешивают фунт мяса по вчерашнему курсу. Так жить годится, я всю ораву кормить могу. А вчера развесили по всем цехам телеграмму из Омска, приказ по дороге: считать катушку не за девятнадцать, а за сто пятьдесят тысяч! Конечно, народ поднялся!

— И чем кончилось собрание?

— По этому вопросу товарищ из Сибревкома сказал — недоразумение, мол, они еще разберутся, нет ли тут провокации, а катушки, сказал, пока велено ценить по-старому.

— Понятно. А как Сибпродком отоваривает ваши пайки?

— Скверно, товарищ Дзержинский, словно из-под палки их кто-то заставляет, а сами бы они ни в жизнь. Первое — то плохо, что не муку дают, а зерно. Иди сам на мельницу, день в очереди постои, да еще пенмач с тебя за помол сдерет. Второе — одно другим заменяют, как хо-

тят: то глюкозу за дрожжи, то маргарин за мармелад, то мармелад за глюкозу, то вообще шило за мыло. И пойдя дознайся, сколько чего за что положено! Третье — за минувший месяц паек дают, а как я этот месяц прожил, продкому, выходит, и дела нет!

Дзержинский серьезно кивает:

— А знаете, Петр Силантьевич, у меня о работе вашего продкома сложилось такое же мнение, как у вас. Придется нам вместе Сибпродком поправлять. Как думаете, сумеем?

— Отчего же, сумеем. Мы снизу житья не дадим, а вы сверху, вам на то власть и дана, чтобы самодуров на место ставить.

Дзержинский смотрит на Капитолину.

— Ну, а чайком нас с товарищем согреем на прощанье?

Женщина разливает подкрашенный кипяток по кружкам. Дзержинский смотрит на дымящийся чай, спрашивает:

— А вы, Петр Силантьевич, партийный ли?

— Нет, товарищ Дзержинский, но за Советскую власть, не сомневайтесь.

Дзержинский берет кружку обеими руками, прихлебывает, согласно кивает:

— Иначе себе и не представлял, Петр Силантьевич.

Тот откликается:

— Мы вот сейчас третьим вопросом про конференцию толковали, что в Генуе соберется. Так заставили президиум нашу резолюцию принять: запретить товарищу Ленину ехать на конференцию в Геную, к буржуйам! Ведь убьют, не дай бог! Они же ни с чем не посчитаются, ни с богом, ни с законом!

* * *

Станция Макушино. Погромыхивая на стыках, медленно втягивается на запасной путь эшелон с хлебом; постукивая буферами, замирает: придется ждать, пока пройдет встречный состав с порожняком.

Кумов и дежурный по станции с жез-

лом стоят на заснеженном перроне. Куимов возбужденно спрашивает:

— Где сейчас встречный?

— Разъезд Коновалово уже прошел, сейчас здесь будет.

— Ну, все равно должны успеть. И тех покормим, и этих. — Идет к соседней двери, распакивает, кричит:

— Давай, соколики, бегом к составу! Чего там мешкаете?

На перрон выскакивают из двери один за другим трое чоповцев — у двоих за спиной винтовки, у третьего вещмешок, у всех в отставленных руках — котелки.

Вот чоповцы сбежали с перрона — балансируя котелками, перескакивают через свободный путь, бегут гуськом вдоль состава.

Спустился из паровозной будки пожилой машинист, смотрит на бегущих чоповцев — в глазах его безразличие.

На перрон выходит девушка. На ней белый фартук поверх жакетки и длинной юбки, русая голова не покрыта. Идет к Куимову. Тот оборачивается — в глазах радостные чертики.

— Адя, ну что же ты так? На мороз! Застудилась!

Она отрицательно качает головой — Куимов снимает с себя шапку, надевает ей на голову.

— Ну, ну, посмотри, то-то они сейчас ахнут!

Чоповцы уже подбежали к суровому машинисту. Тот из них, что с вещмешком, торопливо произносит:

— Панама, принимайте горячее, вам тут еще минут двадцать стоять, так вы навалитесь!

В лице машиниста недоумение. Сверху, из будки выглядывает помощник, в двери — кочегар. На них добротные полушубки, шапки, сапоги.

Чоповец — нетерпеливо, с панором:

— Ну что смотрите? Берите свой обед, а нам котелки назад, а то увезете, а другие бригады не в чем будет кормить. У нас на продбазе всего семь котелков.

Машинист с сомнением, перешительно

берет котелок, подносит к лицу, вдыхает дымящийся аромат щей. Чоповец ловко скидывает с плеч вещмешок, достает из него ложки, пайки хлеба, завернутые в бумагу.

— Налетай, братва!

Кочегар сырыгивает сверху, тяпает руки за котелками.

Машинист, все еще не веря:

— С чего вдруг такое? Никогда прежде не было...

Чоповец с вещмешком терпеливо разъясняет:

— По приказу товарища Дзержинского с нынешнего дня поезным бригадам раз в день горячий обед, ни да каша ишенная.

— В счет нашего же пайка, что ли?

— А нет, ваш паек при вас, это вам от паркома пути как премия за ударный труд.

— Ага, тогда понятно. — Запрокинув голову, кричит помощнику: — Что стал истуканом? Для тебя, дубина, люди стараются, а ты? Сигай сюда!

Помощник машиниста мигом слетает по лесенке:

— А я тут как тут!

Один за другим все трое поднимаются в паровозную будку — рассевшись, споровисто едят наваристые щи, три котелка с кашей стоят на железном полу.

Доносится длинный гудок — с запада подходит состав с порожняком. Из чоповцев лишь один остался у поезда — нетерпеливо оглядывается, кричит:

— Поспешай, поспешай, ребята! Вон еще состав идет!

Сверху спускается кочегар, в огромной его ладони дужки котелков, в них постукивают ложки.

— На, служивый! Можешь не мыть, не полоскать, чисто там. После таких знатных щей мы и котелки, и ложки облизали. Повариху благодари: мастерица! Спроси, назад поедет, так пойдет ли за меня замуж? А то увезу сразу...

Чоповец кивает на станционный перрон:

— Вон она стоит, повариха. Видишь?
— Вижу! Красива девка!
— А рядом — товарищ Куимов, наш тутошний чекист. Тоже видишь?

— Ну и что?
— А то! Он тебе за Ариадну враз голову открутит и собакам бросит. Понял?
— Да, брат, тут дела серьезные... С чекой уж лучше не того.

Из окна выглядывает машинист, кричит:

— Кончай лясы точить! Сейчас отправление дают!

— А я что? Я мигом!

* * *

Вечереет. Далеко на западе, куда уходят пути, закатывается солнышко. Идет за солнцем состав — ходко, с веселым перестуком. Помощник машиниста оборачивается от окна:

— Как считаешь, Петрович, в Кургане нас опять накормят?

Машинист — убежденно:

— Сказали же тебе: раз в сутки! Товарищ Дзержинский приказал — куда же наше дорожное начальство денется?

— И то верно... А скажи, да, сколько власти у человека? И тебе обеды, и теплую вам одежду... Все вырешил!

Опершись о длинную ручку лопаты, смотрит на них кочегар.

Машинист, не снимая руки с реверса, кивает:

— А ему, я так считаю, власть от самого товарища Ленина дана. Чтобы нам облегчение вышло. Ну, и чтобы работу спросить.

Кочегар улыбается:

— Так ведь после таких щей, какие макушинская повариха...

Помощник машиниста усмехается:

— Сказали тебе: на чужое не зарься!

— Да я к слову, Сема! А щи важные были, скажи!

* * *

Железнодорожное депо Новониколаевского узла. Огромное кирпичное здание с

закопченными, век не мытыми узкими высокими окнами. Мимо депо через пути идут Дзержинский и Павлуновский.

Вот и широко распахнутые ворота — отсюда, с улицы, кажется, что в депо совсем темно, и в эту тьму уходят Дзержинский и Павлуновский.

* * *

Теперь мы видим депо изнутри. Сквозь озаренную прожекторным светом сотенную толпу проталкиваются Дзержинский и Павлуновский. Сверху, с паровоза, на них смотрит Смышляев, машет рукой:

— Сюда, товарищ Дзержинский!

Дзержинский и Павлуновский поднимаются на паровоз. Павлуновский, вцепившись в поручни, наседаю кричит:

— Товарищи! К нам прибыл уполномоченный ВЦИК товарищ Феликс Эдмундович Дзержинский! Слово товарищу Дзержинскому!

Дзержинский снимает шапку, кладет ее на поручни, придерживая рукой, смотрит в поднятые к нему лица — аллодисментов и приветственных возгласов нет, лишь в дальних рядах еще гомон.

Дзержинский спрашивает вроде бы негромко, без надрыва:

— Товарищи, говорить ли вам о муках голода, обрушившихся на губернии Поволжья?

Снизу откликаются голоса:

— Знаем, отчислили пайки и деньги!

Дзержинский выбрасывает руку вперед:

— Да, всей Республике известна сознательность рабочего класса на железных дорогах Сибири! Спасибо же вам за сильную помощь! Скажу о другом: что показал суд над омскими поджигателями? Ответу: сторож и дежурный ночью сожгли железнодорожные мастерские, все выгорело дотла!

Гневный ропот прокатывается по толпе. Дзержинский делает отрицательный жест рукой.

— Нет, они не рабочие! Они только прикинулись! Один — кашпелевец, поручик;

второго, штабс-капитана, взяли при попытке поджечь пакгауз с хлебом на станции. Контрреволюция бьет по главному нерву Республики! По транспорту! — Гневный ропот проносится над толпой. — Товарищи, враги рабочих и крестьян, паразиты и хищники мешают перебросить хлеб за Урал! Не только поджогами: они портят паровозы и вагоны, безжалостно расхищают из эшелонов драгоценное продовольствие, уголь!

Товарищи, Советской власти пужна ваша поддержка! С первого февраля железные дороги Сибири объявляются на военном положении! Все, кто будет уличен в посягательстве на транспорт, подлежат ответственности по законам военного времени! Поддержит ли нас рабочий класс?

Теперь над головами несутся решительные возгласы:

— Поддержим! Давно бы так!

Дзержинский удовлетворенно кивает:

— Дальше: девятнадцать станций Сибири, и в том числе Новониколаевск, объявляются на военном положении! Всякое хождение посторонним лицам воспрещается с десяти вечера до шести утра. Право прохода только работающим на дороге. Поддержите?

Митинг взрывается мощно, слитно:

— Поддержим! Согласны!

Смышляев втискивается между Дзержинским и Павлуновским, весело кричит вниз:

— А ну прихватим кого на путях за подлым делом — что с теми?

Кто-то невидимый озорно откликается:

— Загнем тому салазки на месте, и дело с концом!

Громовой хохот летит под кровлю, но Дзержинский поднятой рукой восстанавливает тишину:

— Нет, товарищи, нет! Доставьте его в ЧК, потому что в каждом случае важно доискаться, кто этого подлеца послал. Самосуд нам не пужен! А я передам дорожным ЧК, что они могут рассчитывать на вашу помощь. И последнее: лишь мозолистая рука рабочего может вдохнуть

жизнь в мертвое стывшее железо! Только ваш труд может оживить дороги. С сегодняшнего дня Сибпродком покрывает январский долг в лайках и отдает все полной мерой за февраль. Приказом Сибревкома и моим как наркома пути введено премирование хлебом за ударный труд. Из запасов Наркомлуги выдается теплая одежда для поездных бригад и путейцев, все раздадим сегодня. От вас пужно десять отремонтированных паровозов ежедневно. Дадите?

Митинг отвечает могучим «Даешь!».

Резко гудит паровоз, на котором стоят Дзержинский и Павлуновский. Смышляев выглядывает из будки — под крики «Ура!» паровоз медленно движется к распахнутым воротам.

* * *

ТИТР: НОВОНИКОЛАЕВСК, 1 ФЕВРАЛЯ 1922 ГОДА.

Салон-вагон Дзержинского. Ночь. За окном темно, на столе горит настольная лампа, верхний свет убран.

Белов у карты переставляет флажки, обозначающие составы с продовольствием. Входит Рокотов, за ним — Крылов, в бекеше, папахе, бурках.

Белов:

— Проходите, раздевайтесь. Товарищ Дзержинский уже звонил: заседание Сиббюро уже окончилось, он вот-вот прибудет...

Крылов снимает бекешу, вешает в гардеробчик, туда же идет папаха. Произносит с иронией:

— Нам ночные бдения не в диковинку, а до утра еще далеко.

Белов парирует:

— Товарищ Дзержинский весьма ценит время — и свое, и чужое. Больше, чем необходимо по делу, вас держать не станут.

За окном — шум подъезжающей машины, в окна бьют мощные лучи. Белов пытается рассмотреть, что происходит за окном, бросает стоящему сбоку Крылову:

— Приехали!

Стремительно входит Дзержинский, передает Белову папку, и пока тот кладет ее на стол, снимает долгополую солдатскую шинель, устраивает ее в гардеробчике. Белов подходит, представляет:

— Товарищ Крылов из Сибпродкома.

Дзержинский кивает, жестом приглашает садиться, идет к столу.

— В адрес Сибпродкома весьма много нареканий. Отчего?

Крылов невозмутимо пожимает плечами:

— Сибпродком не выдумывает для себя никаких установок. Это указание Наркомпрода: не давать разбазаривать продовольствие.

— Да нет же! Главная задача Наркомпрода — накормить рабочий класс! Накормить всех, кто живет за счет пайков!

Крылов списходительно и едва заметно улыбается:

— Сибпродком не возьмет на себя такой миссии: подправлять товарища Брюханова...

Дзержинский смотрит изучающе в лицо Крылова, говорит устало:

— У нас нет времени на дискуссию. Сибпродком ведет вредную политику, мы положим ей предел. Завтра получите приказ Сибревкома, а пока запишите: хлеб впредь будете отпускать не зерном, а мукой. Помол — ваша забота, продкома, и нечего перелagать свои хлопоты на рабочих, у них своих забот хватит. Далее. Все наряды будете покрывать не позднее второго числа того месяца, на который выдан наряд. Ясно ли, товарищ Крылов?

— На месяц, следовательно, вперед? А куда уплывут пайки убиавших, умерших, дезертиров?

— Не это главное! Главное — чтобы честно работающие шахтеры, железнодорожники, трудармейцы не испытывали недостатка в пайках, от которых, между прочим, ломятся ваши склады! Ведь у вас, у продкома, есть все: хлеб, мясо, жиры! Есть?

— Это государственные запасы...

— Для чего? Запасы ради запасов? Впрочем, пишите дальше: завтра же начать выдачу по всем губерниям полного количества пайков по январской и февральской нормам. Попимаете? Январь вчера истек, а январские пайки еще не выдавались! И не вздумайте апеллировать к товарищу Брюханову! Пайки выдать, не ожидая подтверждения Наркомпрода!

— Этого я сделать не могу, и председатель Сибпродкома Кармапов такого распоряжения не выполнит.

Дзержинский встает, упирается кулаками в стол.

— Я через час убываю в Омск, здесь моим представителем остается товарищ Павлуновский. Ему даны инструкции: во имя спасения миллионов жизней от голодной смерти все те, кто срывает отправку хлеба за Урал, подлежат ответственности по законам военного времени. Ваш Сибпродком тоже попадает под эту инструкцию. И еще: мы дадим Сибпродкому два месяца, чтобы создать на Южных коях Кузбасса полугодовой запас хлеба. Вы поняли? А перед товарищем Велюкорецким я вам рекомендую извиниться.

Крылов поднимается, произносит с достоинством:

— Вы говорите со мной, как с врагом или с потенциальным преступником. Я ни то, ни другое. Я старый партиец...

— Извините, но у меня действительно нет времени на дискуссию. Могу лишь сожалеть, что Сибпродком до сих пор не понял ни остроты обстановки, ни своих задач. До свиданья. — Белову: — Проводите товарища!

* * *

Комната, где живет Крылов, в оранжевом полумраке. Некто в кресле говорит барственным баритоном взбешенному Крылову:

— Да возьмите же себя в руки, Сергей Павлович! Хватит метаться!

— Но вы... Вы не видели его глаз! Этот

голос! Он назвал меня «товарищем»... «Проводите товарища». Словно на расстрел послал!

— А кстати, у вас была неповторимая возможность застрелить Дзержинского. Вы не подумали об этом?

Крылов резко останавливается, пораженно смотрит на собеседника.

— Застрелить? Дзержинского? — Подсаживается к столу, теперь лицо его освещено, и в этом лице растерянность. — Нет, нет, это невозможно. Вы с ума сошли! Там был все время этот Белов, его секретарь... Как Цербер... Я не успел бы обнажить оружие...

— Что же думаете делать?

— С утра поеду к Карманову. Он болен, отлеживается дома. Передам все, что приказал Дзержинский, и добавлю яду. Чуть-чуть, несколько капель. Пусть встанет на дыбы. Я знаю, он не утерпит, станет звонить в Москву, а мне прикажет до его разговора с Брюхановым ничего не делать — мне того только и надо.

— Рискуете, с Дзержинским шутки плохи...

— А для меня уже то риск, что хожу по улицам Новоиколаевска.

— Что делать с Великорецким? Нашего дела он не примет, я так понял.

— С этой божьей букашкой расправлюсь без пощады. Пусть только Дзержинский вернется в первопрестольную. По прежде пойду принесу извинения публично. Извинюсь и заработаю себе алиби на будущее.

— От штабс-капитана из Омска есть известия?

— Под трибуналом наш штабс-капитан, читайте «Советскую Сибирь», Николай Николаевич. Вину в попытке сжечь пакгауз с зерном признал, об остальном молчит. Организацию не выдает.

* * *

ТИТР: ОМСК, 3 ФЕВРАЛЯ 1922 ГОДА.
СОВЕЩАНИЕ АППАРАТА СИБИРСКОГО
ОКРУГА ДОРОГ.

Огромный двухсветный зал. Рассаживаются работники аппарата — степенные «спецы» в форменных тужурках с ясными пуговицами в два ряда, остальные одеты попроще, в гимнастерки и косоворотки. На стене, за спиной президиума, портрет Ленина и огромный плакат: «Наше боевое задание — продвинуть 12 миллионов пудов хлеба за Урал!»

За столом президиума Архангелогородский, Глузман, Дзержинский и Назарьян. Политкомиссар округа поднимается, стучит по литому колокольчику. Зал стихает, и Назарьян, не повышая голоса, говорит:

— Вы собраны по указанию товарища Дзержинского. Комиссия, которую он возглавляет, вот уже месяц работает в Сибири, а крутого перелома все нет, и товарищ Дзержинский склонен возложить вину за это на Сибирский округ...

Глузман бросает в зал:

— Не передергивайте, товарищ Назарьян!

Зал откликается сдержанным шумом, Назарьян взрывается:

— Ваша трибунальская должность, товарищ Глузман, еще не основание...

Дзержинский — негромко:

— Товарищ Назарьян, о своих претензиях я скажу сам. — Он идет к трибуне. Назарьян после секундной паузы объявляет:

— Слово имеет Наркомнут товарищ Дзержинский!

Дзержинский всходит на высокую трибуну, смотрит в зал — перед ним две сотни внимательных, напряженных, скептических глаз.

— Уважаемые коллеги! Товарищи! В чем суть претензий? Давайте загибать пальцы: две недели назад я говорил вашим руководителям, что по всем дорогам Республики мы провели сокращение штатов на четверть и избавились от лодырей и шкурников. Мы сохранили коренных пролетариев, квалифицированных рабочих. Мы дали им повышенные пайки, и люди работают. Невыходов — семь про-

центов, а не 49, как у вас. За минувшие недели вы даже не приступили к сокращению штатов!

Назарьян вскипает:

— Сокращение работающих ничего нам не даст! Трибуналец Глузман готов завтра же выпнать с работы половину железнодорожников! Какую половину? Ту? Эту? На кого повесим ярлык шкурника и туеядца?

У Глузмана лицо горит, но он держит себя в руках:

— Вот с этим и следует разобраться. Кто изо дня в день на работе, а кто по неделям гоняет протекционные вагоны с барахлом, закунаст по селам муку да мясо, а потом сбывает на рышке втридорога! Кто только числится на службе, а занят торговлей!

Дзержинский поднимает руку:

— Комиссия считает, что товарищ Глузман бесспорно прав, правится это вам или нет, товарищ Назарьян. Сокращение штатов проведено по дорогам России и будет проведено в Сибири. Если вы, товарищ Назарьян, не в состоянии этого сделать, комиссия поручит эту работу товарищу Глузману. Теперь спрошу о другом.

Вот сидит товарищ Полозов. Вы ведь, Павел Кириллович, еще в конце прошлого века строили мост через Обь у Новоиколаевска. Так, да?

Сидящий в зале инженер охотно откликается — он польщен:

— Мост строил инженер Кнорре, я помогал. Мы там впервые в практике мостостроения применили деревянные кессоны взамен железных.

— Ну вот! А сейчас ваш мост в каком состоянии — знаете?

— При отступлении белых взорван оди́н пролет, по его на скорую руку подлатал в зиму двадцатого года неизвестный мне красный командир. На глазок и без расчетов, как я слышал.

— Мост восстановил за полторы недели командир 51-й дивизии товарищ Блюхер, трижды краснопламенец. По отзывам спе-

циалистов Сибревкома, мост действует исправно уже два года. А вы, Павел Кириллович, чем в Омске заняты?

Назарьян поясняет:

— Товарищ Полозов возглавляет группу учета и статистики.

Дзержинский разводит руками — в голосе звучит негодование:

— Да? После Колчака по всей Сибири взорванных и рухнувших мостов чуть не тысяча, а наш крупнейший спец-мостостроитель цифрики переписывает?

Назарьян вскидывается — это удар по его самолюбию:

— Если кому-то нравится пустое прожектерство... Товарищ Полозов безусловно крупный специалист. Безусловно. Однако у Округа дорог Сибири нет ферм. Нет металла для их изготовления. Нет заводов, чтобы их заказать. Нет средств, чтобы оплатить!

Дзержинский — с гневом:

— Самое страшное не в этом: у вас, руководителей округа, нет воли и желания заниматься чем бы то ни было! Иные ждут второго пришествия Христа — чего ждете вы, товарищи Архангелогородский и Назарьян? Кто придет и кто сделает? Если вы, товарищ Полозов, за мосты не возьметесь — кого звать?

Полозов поднимается:

— Товарищ Дзержинский... Я готов бросить в тартарары и свой стол, и все бумаги на нем! Надоело! Я хотел бы осмотреть мост в Новоиколаевске...

— Да! И вообще все крупные мосты Сибири. И представьте нам в НКПС ваши соображения по восстановлению каждого! А вы, товарищ Назарьян, загубайте следующий палец!

— Ровно ничего не сделано, чтобы высвободить из-под жилья вагоны! У вас исключено из движения две тысячи пятьсот вагонов.

Архангелогородский откликается:

— Цифра точная, но в вагонах живут беженцы. У нас нет жилья для их расселения.

— Верно! У вас нет! А у жилотделов

губисполкомов? Вот ваша ошибка! Без опоры на Сибцентры вы не выселите с железной дороги тысячи людей! Да или нет? Что вы молчите, товарищ Назарьян?

— Эта мера — лишь жалкая заплата!

— Знаю, знаю я вашу песню: дороги сдать в концессию германцам, или англичанам, или черту! Не сдадим!

Из зала — выкрики:

— Вот это верно!

Шум, кое-где аплодисменты.

Дзержинский поднимает руку, утихомиривает зал — и слова Назарьяну:

— Загнули палец? С первого февраля железные дороги Сибири на военном положении — сама обстановка вынудила нас к этому. Есть ли в этом ваша вина — работников транспорта? Месяц назад Наркомпуть и Цектран призвали вас: вы жечь беспощадно взятку, это позорнейшее последнее прошлого. У вас тут взятка стала столь бытовым явлением, что у многих железнодорожников притупилась чувствительность! Требуется весьма сильные средства, чтобы привести людей в чувство!

Назарьян резко встает:

— Даже Наркомпути не имеет права, не должен чернить и обливать грязью своих подчиненных! Только факты могут...

Дзержинский — изумленно:

— Вам что, приговор по делу взятчика с разезда Боксары — не факт? Там, за Уралом, целые районы содрогаются от ужасов голода! Вся Республика напрягает последние силы, чтобы хоть скольнибудь смягчить пужду миллионов! А тут пахотятся мерзавцы, готовые и пародное бедствие обратить в средство личного обогащения! А товарищ Назарьян все ждет машины небесной от акулы мирового империализма, на концессии уповает!

Зал взрывается гневом:

— Долой!

— Не дадим!

— Не позволим!

* * *

ТИТР: ОМСК, 12 ФЕВРАЛЯ 1922 ГОДА.

Снова салон-вагон — Дзержинский пишет при свете настольной лампы: «Прошу находящиеся в нашем поезде у кого бы то ни было, в каком бы то ни было количестве и какого бы сорта вино или спиртные напитки — уничтожить, поскольку нет предписания врача. Прошу вместе с тем сообщить всем, кому следует, что нахождение вина в моем поезде буду карать самым беспощадным образом».

Дзержинский смотрит на часы и составляет: «1 час 30 минут почи», расписывается. Берет другой листок, задумавшись, сидит над ним минуту-другую. В вагоне тишина, лишь изредка доносятся гудки паровозов, грохот буферов. Но вот Дзержинский склоняется над листком, пишет быстро: «Зоя моя дорогая! Тебя пугает, что я так долго вынужден находиться здесь... Я должен сосредоточить всю свою силу воли, чтобы не отступить, чтобы устоять и не обмануть ожиданий Республики. Сибирский хлеб и семена для сева — это наше спасение и наша опора в Генуе. Не раз я доходил здесь до такого состояния, что почти не мог спать — и бессильный гнев наводил меня на мысль о мести по отношению к тем негодям и дуракам, которые здесь сидят...»

Дзержинский отрывается от письма — он снова видит бурлящий зал, безвольную фигуру Архангелогородского, Назарьяна, не приемлющего разумных доводов... И снова рука его бежит по строчкам.

«...Они нас обманывали — здесь совершенно пустое место. А среди масс, даже партийных, было равнодушие и непонимание того, какой грозный период мы переживаем... Я вынужден сдерживать свой гнев...»

Входит Белов с папкой, проходит к карте, накалывает флажки — теперь их

довольно много. Закончив работу, смотрит на Дзержинского.

— Товарищ Дзержинский, все сводки готовы.

Дзержинский откладывает письмо.

— Да, я слушаю. Докладывайте в обычном порядке.

— За сутки по выходным пунктам Челябинска и Тюмени сдано центру 144 вагона с хлебом и 7 с семенным зерном. Отремонтировано паровозов по всем депо 20, вагонов 104. Уголь имеется в запасах по всем дорогам на восемь суточных норм.

— Хорошо. Теперь возьмите вот эту записку и ознакомьте всех в поезде под личную роспись. — Он протягивает записку об уничтожении вина, смотрит, как пробегает ее глазами Белов. — Надеюсь, в вашем купе уничтожить нечего?

Белов серьезно кивает.

— Ходоровский запрашивает, когда ждать вас в Новониколаевске: он готовит на бюро вопрос о помощи Сибирскому округу.

— Ответьте: видимо, двадцатого-двадцать второго февраля, раньше здесь порядка не наведем. На утро вызовите ко мне Архангелогородского, одного, без Назарьяна. Хочу понять, способен ли он на что-либо дельное...

* * *

Запасная ветка на станции Новониколаевск.

У теплушек, в которых еще недавно жили беженцы, шум и суета: рабочие, ловко орудуя топорами и ломami, спешат сбивать кладовки и лесенки, цокастроены жильцами у теплушек, доски грузят на сани — вереница их стоит меж путей. Кто-то с блокнотиком в руках кричит переднему возчику:

— На лесосклад свезете, доски в депо пойдут, под хлебные щиты, понял?

Но не все теплушки опустели: в тех, что в самом конце тупика, еще остались люди.

Вот сидит на табуретке Капитолина — лицо озабоченное, на коленях узелок.

Женщина молча внимательно смотрит, как Петр Силантьевич укладывает рядком, поближе к двери, узлы с пожитками. На столе — спятый со стены шкапчик, пемудрящая посуда уложена в деревянный ящик.

Дверь отворяется — с порога кричит ликующая Оля:

— Сейчас за Пузановыми приехали! До нас два вагона осталось.

Захлопнулась дверь, снова тихо в вагоне, только Петр Силантьевич сапогами постукивает — вот с верхних пар сыркнул, еще что-то в узел сукул. Вот лампу со стены снял, на стол поставил. Беспокойно ему — сел напротив Капитолины.

— Капа, что тебя гложет? Глянь, на себя не похожая...

Капитолина молчит. Потом, не глядя на него, едва слышно спрашивает:

— Куда нас отвезут, знаешь ли?

— На Красный проспект, тут совсем рукой подать. Дом брошенный, купчина какой-то с Кольчаком ушел. Первый этаж заселили уже. Нам во втором две комнаты...

— Нам... — В голосе горечь.

— Ну да, нам! Капа, что-то я тебя не пойму...

— Ну что «Капа»? Там ведь дом! Не вагон на колесах! Может, до конца своих дней!

Петр Силантьевич смотрит оторопело. Говорит нерешительно:

— Хочешь летом на Волгу возвращаться? То ли в Сибири не глянулось? А, Капа?

— Ах, да не о том я! Как жить-то станем? Дети наши ведь все помнят, большие уже! И сестру мою, и мужа! Ну, согрела я с тобой. От горя... От слабости бабей... А теперь что же? В жены к тебе ведь не пойду, совесть не велит...

Снова распахивается дверь — влетают Васька и Семка.

— За нами! Двое саней! — Хватают огромные узлы, толкаясь, волокут их за дверь. Семка сверху прикрикивает на девчонок:

— А ну не путаться под погами!

Девочек мигом спосит со ступенек, а Васька с размаху бросает узел в сани.

Петр Силантьевич берет со стола тяжелый ящик с посудой. Не двигаясь с места, кивает на дверь:

— Эх, Капа! Эти вопи давно уже нас с тобой повенчали! А тебе то ли со мной плохо?

Снова влетают мальчишки, хватают узлы — эти полегче, их не волокут, а забрасывают за спины. Когда дети исчезают, Петр Силантьевич, перед тем как выйти, говорит сидящей у стола женщине:

— Сама же говорила: такую зиму пережили, теперь страшного ничего не будет. Зачем же все рушишь?

Он выносит ящик, спускается по ступенькам самодельного крыльца. Укладывает ящик в сани, закрывает сверху одним из узлов.

Возчик — хмурый дядька с усами, — спрашивает:

— Все, что ли? А хозяйка-то где же?

На крыльцо выходит Капитолина — дети уже уселись в пустые сани, Петр Силантьевич, стоя рядом с возчиком, молча смотрит на нее. Дети наперебой зовут:

— Мамка! Садись с нами! Поедем!

* * *

Анастасия Перлович идет по заснеженной улице, мимо рубленых двухэтажных домов. Доносится песня — слов разобрать нельзя, только слитные мужские голоса. И вот Анастасия выходит на Красный проспект — по нему шагают роты красноармейцев с лопатами и кирками на плечах, два бойца несут падающий ветром плакат: «Мы идем чистить пути от снега!»

Анастасия смотрит неотрывно — как их много, какие они все молодые, и лица от мороза румяные. Они поют — теперь и слова понятны: «Но от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильнее! Так пусть же Красная...»

Здесь, на углу, толчея, Анастасии теперь не очень хорошо видно, а ей поче-

му-то хочется смотреть и смотреть. Она вытягивает шею, привстает на цыпочках — и чувствует, как на плечо ее легла твердая мужская рука. Она изумленно оборачивается — за ее спиной стоит Лукомский в офицерской бекеше, папаше.

Анастасия, опедев, не может оторвать взгляда от его лица. Он, чуть улыбаясь, властно берет ее под руку, выводит из толпы, ведет мимо красно-белого «Торгового центра», мимо домов, мимо сугробов. Склонившись к ней, говорит доверительно:

— Тасенька, голубунка, какими же судьбами? Помилуй бог! Ты — и вдруг разгуливаешь по красному Новоиколаевску! Сумела улизнуть из отряда?

Анастасия останавливается, пытается освободиться от его твердой руки.

— А ты? А ты? У тебя новая жизнь? Ты теперь кто?

— Однако, дусик, не на улице же нам объясняться! Поехали к тебе!

Анастасия решительно вырывает руку, отступает на шаг.

— Гадина! Скользкая гадина! Всю жизнь мне исковеркал! Тех и этих продал! От крови не отмылся и к новой жизни примазался?

Крылов презрительно пожимает плечами:

— Да стиги ты, апафема! Я-то думал тебе помочь... — Он решительно идет прочь — и вдруг бросается в первый же двор.

Анастасия, опомнившись, бежит к распахнутым воротам — двор пуст, окна дома заколочены, с той стороны двора забор повален.

* * *

В кабинете Павлуновского — Анастасия Перлович. Кожухок на ней расстегнут, лицо возбужденное.

— Поймите! Он тут! Он в городе! Я сейчас с ним говорила! Его надо схватить!

Павлуновский машет рукой.

— Да сядьте же, сядьте! И успокойтесь. Кто это — он? Кого схватить?

— Лукомский! Два года, видите ли, как ведет новую жизнь!

— Лукомский? Вы уверены? Вы не могли ошибиться?

Анастасия в отчаянье постукивает кулачком по столу:

— Ах, ну господи! Он же стал расспрашивать, как это я из отряда Твердова живой выбралась! Ко мне домой захотел!

Павлуновский нервно потирает пальцами подбородок — он наконец поверил.

— Садитесь, опишите, как выглядит, во что одет. Где вы его встретили?

* * *

Угольный эшелон, к которому прицеплена теплушка уполномоченного ДТЧК, медленно втягивается на станцию Трудармейская и замирает с лязгом и перестуком буферов. Луч паровозного прожектора не в силах пробиться сквозь неистовство пурги. Сейчас день, но в двух шагах ничего не видно — нескончаемый снежный вихрь крутит, гонит, бьет в спину уполномоченного ЧК и Ливанова: они задыхаясь, поддерживая друг друга, спешат в голову состава, к паровозу.

У паровоза — машинист, его помощник, начальник станции. Сияясь перекрывать ветер, он энергично втолковывает поездной бригаде и подошедшим Ливанову и чекисту:

— Ну что начальник Трудармейской? Ну, я начальник станции! А на выездной стрелке состав застрял, с хлебом для Проконьево-Киселево! Сейчас же отконаем — потом хуже все заметет! Я всех тут мобилизовал — помогайте и вы!

Чекист сдирает ледышки с усиков.

— Какой вопрос, товарищ! Где шанцевый инструмент?

И маломощная «овечка», и семь вагонов безнадежно, но самые оси заметены снегом, и горстка людей не в силах что-либо сделать. Хотя люди — здесь мужчины, женщины, подростки, — не жалея се-

бя, непрерывно сбрасывают снег, но это все равно, что черпать море котелком: пурга тут же наметает новые сугробы.

Но вот состав расцепили — люди откапывают не весь эшелон, а только паровоз и три первых вагона. Мелькают лопаты; сечет по лицам снег; кто-то, распластавшись, отгребает снег рукавицами от паровозных колес; кто-то докопался до стрелки...

Наконец, паровозик, натужно сияя, трогается — люди с криками «Ура!», «Пошел!», едва слышными в вое пурги, кидаются к вагонам. Обленив со всех сторон, толкают из последних сил, словно их помощь нужна изнемогающему паровозу...

* * *

Вечерет. Крупными хлопьями падает мягкий, пушистый снег. Безлюдная окраина Новониколаевска. От редких здесь домишек дорога круто уходит в глубокий овраг, по дну которого летом шумит Каменка. По дороге спешит к мосту через Каменку Анастасия. Она ступает на мост — мужчина у перил лениво выпрямляется, бросает негромко, уверенный, что его услышат:

— Куда спешешь, Таисья?

Анастасия останавливается — глаза ее неподвижны. Стараясь не выдать волнения, произносит:

— Здравствуйте, Прохор! Вы от Лукомского? Чего он хочет от меня? Или убить прислал?

Прохор ухмыляется:

— А ничего ему не требуется, иди спокойно. Я случайно...

— Так врешь ведь! Убивай! Я и так мертвая!

— Иди, иди, верно говорю... — Он пропускает Анастасию мимо себя, стреляет ей в спину — раз и другой. Анастасия, покачивувшись, молча падает в снег, заперошивший настил.

От того конца моста, из снежной круговерти, бегут с винтовками наперевес три красноармейца, старший наряда кричит: — Стой! Стой! Убивец!

Прохор оборачивается, стреляет — один из бойцов падает. Прохор вот-вот сбегит с моста. Старший паряда вскидывает винтовку — звучит выстрел, и Прохор, нелепо взмахнув руками, переваливается через перила моста.

Старший наряда опускается рядом с Анастасией, переворачивает на спину, стирает с лица снег.

— Ах ты, господи! То ж новая сестрица из госпиталя! Убил, ну ни за что убил женщину! — Он поднимается, смотрит с моста вниз — в уже сгустившемся сумраке еще хорошо виден чернеющий на снегу труп. Снег теперь валит непроглядной густой стеной.

* * *

МОСКВА. СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ. ПУТИ СОВЕРШЕННО ЗАНЕСЕНЫ... НА РАСЧИСТКУ ПУТЕЙ ДВИНУТО МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, ВОЙСКА, РАБОЧИЕ КОПЕЙ... ПРИНЯТЫ ВСЕ МЕРЫ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ... НАРКОМПУТИ ДЗЕРЖИНСКИЙ.

ТИТР: НОВОНКОЛАЕВСК, 26 ФЕВРАЛЯ 1922 ГОДА.

Улеглась метель, утихомирилась, но путей совсем нет, не видно их под метровым снежным покрывалом. Идут по снежному полю перед вокзалом люди: мужчины, женщины, молодежь, красноармейцы, несут транспаранты: «Расчистим путь хлебу!», «Наш враг — снежный занос!»; несут лопаты, кирки.

Бьют кирки, подхватывают снег лопаты — вот уже и шпалы видны; размерел: по ходят руки Белова; справа от него Держинский со штыковкой, он обкапывает с двух сторон рельс; вот Рокотов в кожаной фуражке, но ему не холодно, лицо разгоряченное. Бросает через плечо снег, говорит отрывисто:

— Вот, товарищ Держинский, никогда ничего не боялся, ни штыка, ни пули, ни начальства, а сибирская пурга — это да! Эта хоть кого в ужас загонит...

Держинский откликается:

— Да, товарищ Рокотов, довелось мне пережить Енисейскую ссылку, но и я такой пурги не видел.

Подходит еще колонна — это рабочие депо и мастеровых. Смышляев издали здоровается:

— Доброе утро, товарищ Держинский!

— Здравствуйте, Петр Силахтевич! — Держинский улыбается и снова берется за лопату.

Рабочие быстро растягиваются цепочкой вдоль второго пути, к ним бежит железнодорожный начальник: «Товарищи, мне падо...»

Смышляев усмехается:

— Все, что тебе падо, мы знаем. А шел бы ты к нам, Сергей Михайлович, помахал бы вместе с нами лопатой!

Железнодорожный начальник обидчиво поджимает губы, проходит мимо. Смышляев кричит Держинскому:

— Вызываю на соревнование, товарищ Держинский!

Тот охотно откликается:

— На легкую победу не надейтесь!

Сотни людей с воодушевлением отбрасывают снег...

* * *

Павлуновский смотрит в осунувшееся лицо Ливанова — он понимает: командир роты знает обо всем и в руки себя уже взял. Кладет перед ним фотоснимок:

— Вот он и стрелял в Анастасию Перлович. Его красноармейский патруль убил, но снимок мы все же сделали. Взгляните вот...

Ливанов внимательно рассматривает снимок, вскидывает пораженно голову:

— Это же Прохор! Унтер-офицер дивизионного поста контрразведки. Он у Лукомского в денщиках состоял!

— А! Вот как все сошлось! — спмает трубку телефона: — Соедините с товарищем Держинским... Товарищ Держинский, Ливанов прибыл. Есть подожать пятнадцать минут. Ах, товарищ Крылов... — Он искоса смотрит на читающего Ливанова. — Нет, еще не говорил, но

в его согласи не сомпеваюсь. Ну и что, что опасно? Ему об этом напоминать не надо. Да, не из тех, кто прежде думает об опасности, а уж потом о деле. У него как раз наоборот!

Павлуновский кладет трубку.

— А что вы мне, Иван Петрович, такие авансы даете?

— Дело вам хотим предложить. Действительно опасное, а кроме вас его исполнить некому. Где-то здесь сидит Лукомский, причем под чужим именем. Вот пербинтуем вам голову и часть лица, и пойдете вы по всем нашим сибцентрам: в Сибуголь и Сибнаробраз, Сибтиф и прочие «сибы».

— Разумеется. А в чем опасность?

— Ну, не только вы его можете опознать, но и он вас. Тут кто раньше успеет. И подручные у него, видимо, есть, не один же Прохор был, а на расправу видите они какие скорые.

— Я все равно пойду.

— Вот я и сказал товарищу Дзержинскому, что в вашем согласии уверен. Ну, пойдете, он уже, видимо, отпустил того сукиного кота Крылова. Вот ведь и человек вроде заслуженный, и партийный, и краспознаменец, а так с ним трудно столкнуться!

* * *

Павлуновский и Ливанов медленно идут по длинному освещенному коридору. Им навстречу уверенно вышагивает Крылов. Павлуновский и Ливанов расступаются — Крылов, едва кивнув Павлуновскому, проходит между ними. Ливанов резко оборачивается, пораженный, смотрит в спину Крылова... Тот замедлил было шаг, но обернуться не успел: Ливанов прыгает ему на спину, оба с грохотом падают на дощатый крашеный пол.

Павлуновский не успел прийти в себя — распахиваются двери ближайших кабинетов, выскакивают чекисты. В секунду Ливанова и Крылова поднимают, растаскивают — Крылов пытается вырваться, Ливанов кричит:

— Держите! Держите нас обоих, и покрепче! Иначе в ход пойдет оружие!

Крылов возмущен:

— Варварство! Дикость! В чека!

Павлуновский вмешивается:

— Отпустите товарища Ливанова! А этого придержите, да отберите у него оружие!

Крылов грохочет во весь голос:

— Это издевательство! Это вам даром не пройдет! Я доложу Дзержинскому!

Ливанов одергивает рукава френча, отбрасывает рукой спутавшиеся волосы, насмешливо улыбается:

— А ты всегда был нахалом, Серж! За что я бил тебе морду два года назад? За наглость! — Оборачивается к Павлуновскому. — Вот полюбуйтесь: Сергей Лукомский!

Крылов вскипает:

— Идиотство! Я Крылов! Я не знаю этого сумасшедшего!

Чекисты за спиной Павлуновского расступаются — подходит Дзержинский. Он безмерно удивлен и громкими, непривычными в этом здании криками, и толчеей в коридоре.

— Что здесь происходит?

Павлуновский, не спуская глаз с Крылова, докладывает:

— Товарищ Ливанов утверждает, что вот он — никакой не Крылов, а разыскиваемый нами Сергей Лукомский!

Дзержинский изумленно переводит взгляд с Ливанова на Крылова, машет рукой:

— Обоих ко мне!

* * *

Дзержинский подходит к столу, но не садится, стоя смотрит, как два чекиста вводят Крылова, усаживают его за приставной столик, спиной к окну. Сюда же, к окну, проходит Павлуновский. Ливанов решительно садится напротив Крылова, смотрит на него откровенно торжествующе.

Дзержинский, еще ни в чем не убежденный, — Павлуновскому:

— Что, Иван Петрович, прямо как у Гоголя: «Ах, какой пассаж!» Неужто тот самый Лукомский? — Тогда, пожалуй, все становится понятным: и развал в Сибпродкоме, и нежелание палатить дело... Ну, товарищ Ливанов, слушаем вас.

— Со мной в камере, товарищ Дзержинский, сидело семеро. Один умер от побоев у меня на руках. Один воевал в Красной Армии и погиб под Кемчугом, когда не удержали каплелевцев. Остальные пять живы-здоровы. Если их собрать... — оборачивается к Лукомскому. — Как считаешь, Серж, узнают они своего палача?

Крылов-Лукомский упрямо качает головой, твердит:

— Нет! Нет! Это ошибка! Я не Лукомский!

На груди его алеет орден в шелковой розетке, за кадром — голос Ливанова: «Да снимите с него этот орден! Наверняка либо украл, либо с убитого снял!»

Павлуновский — решительно:

— Товарищ Дзержинский, я буду выпущен до конца проверки задержать... его.

— Ваше решение в рамках революционной законности. Я не возражаю. Только поставьте в известность его начальника и Сибревком. Итоги расследования доложите мне в Москву.

* * *

ТИТР: МОСКВА, ГПУ НКВД.

Кабинет Дзержинского. На приеме у него корреспондент «Известий».

Дзержинский медленно говорит, следя за тем, как безостановочно бегают по бумаге перо журналиста:

— То представление, которое мы имели в Москве о состоянии сибирского транспорта, оказалось совершенно неверным, он оказался в очень тяжелом состоянии.

Журналист кивает, поднимает голову.

— Как вы формулируете причины неподготовленности дорог Сибири?

Дзержинский на минуту задумывает-

ся — перед его мысленным взором проходят заметенные пути, застывшие паровозы, горы угля в штабелях, зерно, ссыпанное в колоды...

— Причин несколько: полный развал аппарата округа; отсутствие связи округа с сибцентрами; полная небеспопеченность топливом... Успели? Но самая главная причина — отвратительное снабжение рабочих. Хотя в Сибири имеется все для своевременного снабжения... Записали? Мы столкнулись с полным невниманием Сибпродкома к нуждам рабочих... Сформулируем так: «Систематические перебои в снабжении оказали самое пагубное влияние на работу транспорта». Вот так.

Журналист торопливо записывает — Дзержинский говорит быстро, одновременно помечая что-то в блокноте. Журналист спрашивает:

— 13 марта, когда вы докладывали на заседании Политбюро ЦК РКП ваши выводы о работе транспорта и политическом положении Сибири, товарищ Треский с вашей позицией не согласился и настаивал на необходимости сдачи железных дорог в концессии. Какова все же ваша позиция и чем она обоснована?

Дзержинский поднимается, выходит из-за стола, задумывается, как бы видя: яркий, солнечный день. Снег искрится — глазам больно. На станции Макушино комсомольцы непрерывной вереницей чуть не бегом запоят по трапам в два вагона мешки с зерном. С короткими частыми гудками паровозик осаживает к месту погрузки еще четыре вагона — Куимов с мешком на спине бросает стоящему впризу учетчику:

— Хоть до ночи будем работать, а сегодня все погрузим! У пакгауза топчется чоновец с ружьем — часовой...

* * *

Такой же солнечный, морозный день на далекой станции Усыты.

На путях углярки под погрузкой: люди с носилками взбегают по трапам,

ссыпают в вагоны уголь, спускаются по ту сторону вагонов — и снова к штабелям, где копошится человеческий муравейник.

К Ливанову подходит уполномоченный дорожной ЧК.

— Ну что, приехали батальон? — Пожимает руку. — Здравствуйте.

— Здравствуйте. Батальон принял и сдаю: трудовую армию расформировывают.

— Куда же вы?

— Рапорт подал, имею желание в полевые части. У канцелярцев воп Хабаровск отбили, вот и прошусь на Дальний Восток, буду Владивосток брать. Как думаете, пошлют?

* * *

Кипит работа в дено Новониколаевского узла. Вдоль всей стены поверх окон плакат: «Даешь сегодня сотый паровоз из ремонта!» «Сотый» украшен портретом Ленина в кепке, флагами.

Из будки паровоза выглядывает Смышляев, улыбается стоящим внизу людям — их человек двадцать. Паровоз, ликуяще гудя, медленно движется к распахнутым створкам ворот...

* * *

С огромной высоты мы видим Омский узел — отсюда к Уралу бегут две магистрали. Медленно, однако безостановочно

идут на запад в затылок друг другу хлебные эшелоны...

* * *

Мощный магистральный паровоз-декапод пробивается сквозь снежную поземку, стремительно ведет за собой хлебный эшелон.

За кадром — голос:

«На основании приказов номер 6 и 17 Наркомпути товарища Дзержинского о срочном и первоочередном продвижении продовольствия на запад разрешаю в течение светового дня пропускать составы с продовольствием на проход через полустанки и разъезды сразу по двум путям главного хода магистрали. Подписал начальник службы движения Сибирского округа дорог».

...Ревет паровозный гудок — из-за поворота выносятся два состава. Их ведут мощные декаподы, они мчат по параллельным путям, словно соревнуясь...

И снова кабинет Дзержинского — он стоит у стола, опустив правую, сжатую в кулак руку на крышку стола:

— Пишите! Всякие разговоры о возможности сдачи железных дорог в концессию, в эксплуатацию иностранному капиталу, совершенно не вытекают из объективного положения транспорта и ни в коем случае допущены быть не могут! Записали? Добавьте еще: «Транспорт был и остается базой диктатуры пролетариата!»



Валерий Зубарев

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

1

В темных углах
 словно бы нежить дрожит.
Нежная женщина
 тихо во сне забормочет.
Непогоду
 по-печенежьи
 в окно завизжит,
кочетом вскрикнет...
 и танком вдали зарокочет.
Что-то родное —
 природная, что ли, душа,
не уместившись
 в пределах сибирской России,
кинулась странствовать,
 ветром тревожным дыша,
по временам и пространствам
 народной стихии...
Спят мои предки
 в Притомье, у Писаных скал,
спят в Приднепровье, в Приволжье...
 в глаза накатилась
вечности капля...
 и так я внезапно устал,
словно усталость уснувших
 во мне накопилась.
Надо было сложить
 столько былинных голов,
не изломать свою статью
 под испожаренным небом.
Надо было сложить
 столько единственных слов,

чтобы не стать
 византийцем,
 татаринном,
 немцем.
И безоружным
 оружия не сложить,
этим и жить
 даже в колодке нашейной,
более ста
 войн и разрух
 пережить,
трижды ожить
 после великих нашествий.
Вспыхнуло!
Треснуло!
Грянуло!..
Он это,
 он! —
разволхвовался
 по градам и весям сибирским
дух неубитый
 грозных пространств и времен, —
он
 не дает засыпать
 сном богатырским.
Он превратил
 в недреманное око — око,
он призывает стихии
 и гонит усталость..
чтобы на пулю —
 на чертово веретено —
нитка судьбы
 ни твоя, ни моя
 не моглаась.

И в общежитии
студентки
не спят...

а спорят, а воют!..
На пару первую, злодейки,
неукоснительно проспят.
Язвит блондиночка: — Не надо!..
И загоняет напрямик
цивилизованное стадо
в цивилизованный тупик.
Наш предок, по ее сюжету,
спортивный этакий амбал,
одну намеченную жертву
одной стрелой убивал.
Теперь — стрелой реактивной —
один угробит миллион... —
какой кошмар! (К тому же он
какой-нибудь сморчок противный...)

III

Смутный ропот в ночи:
— Возгордившиеся,
должники мои неоплатные,
почему вы
друг в друга целите
из травы моей, из ветвей?..
О войны,
неродившиеся
и уже оплаканные
матерью
бесстрашной
своей.
Вам даровано чудо —
Земля, —
почему это чудо не цените,
как и чудо жизни своей?..
О женщины-поля,
мужчины-сеятели!..
Времена
и так
пожинают
урожаи сыновей.

С молодостью прощается
даже красивая мать,
камень в песок превращается..
Не помогай разрушать!
Двигутся тени ночные,
кто-то идет убивать,
что же вы, люди дневные..
Не помогай разрушать!
Что же вы, люди слепые, —
зрячим не надо мешать... —
слово грядет «ЭНТРОПИЯ»... —
не помогай разрушать!

V

Между нами неравенство лет.
Мы презрели его. И однако
на лице твоём жизненный свет,
а мое — потемнело от мрака.

Вы куда, мои дни?.. — в никуда..
О, мгновения скаковые!
Быстротечны земные года,
даже если они световые.

Вызов времени самому —
мы не первые из скитальцев,
простирающие сквозь тьму
пятилучья непрочные пальцев.

Не за ними ли торжество
там, где свет свои копыта ломает,
там, где звездное вещество
кулаки лучевые сжимает.

Обладает планета людей
дерзким чудом двоих. И прекрасно,
что земные ладошки детей
растопырены звездообразно.

VI

...Опять любви полна
двуполая природа.
И влажная луна
сияет с небосвода.

ГОРОЖАНИН

Пропахший в шлакоблочной конуре
болгарским табаком и пылью книжной,
с пушинкою субботней на вихре,
презрительно кривя губою нижней,

дремотно смотрит, думает вприщур:
куда девались комнатные туфли...
и что жарынь... и громко чересчур
гремит жена посудою на кухне.

Пейзаж в мушиных точках на стене.
Обои в мутно-розовых цветочках.
Туманное окно... а на окне
колючие видения в горшочках.

А за окном, где, сумраком светя,
тайга толпилась по речным долинам,

дитя индустриальное, кряхтя,
мешает дым с дыханьем тополиным.

Мешает дым со вздохом Ермака
до Шории... и снова до Урала:
— Эх, Томь!.. И ты, голубушка река,
голубенькое платье измарала...

Мешает с дымом нынешнюю речь:
«А не рвануть ли, мужики, на лоно?..» —
Никак не могут догубить влюбленно
все, что, губя, клянутся уберечь.

Чтоб, просыпаясь в четырех стенах,
не знать, уставясь в заводские трубы,
что рвутся заблудиться в трех соснах
природолюбы и природогубы.

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

«Брысь отсюда!» — прикрикнул на рысь,
в бородище — янтарная смолка,
в голове загустевшая мысль:
— Как по правде зовут тебя, елка?

Сгинул леший. И ряской речной
обернулось иное словечко,
потому что спросил водяной:
— Как по правде зовут тебя, речка?

И пошли расцветать чудеса!
Все сместилось: и елка, и речка,

люди, звери, земля, небеса...
Как по правде зовут тебя, Нечто?

Тьму имен тебе дал человек:
ты — и сам он, и речка, и елка,
и мучительно сросшийся бег
одрыхлевшего лося и волка.

Но бессильного имени звук
на губах замирает. И снова
все, сливаясь, мерцает вокруг
новизной первозданного слова.

БОРИСИК

Рассказ

Борода у начальника станции Борисика была редкой, клочковатой и жесткой, как чертополох. Он сдирал ее быстро тупившимся безопасным лезвием, поочередно высматривая щеки в маленьком приклоненном к графику зеркальце и ругая местную промышленность, выпускающую некачественный товар.

Семенов толкнул дверь и остановился у порога. Борисик скосил на него глаза, продолжая бриться.

— Ну? — коротко спросил он, видя, что Семенов не собирается проходить.

— Гена, — угрюмо сказал Семенов, переступая ногами в огромных валенках и толкая плечами косяки, — Гена, ты как хочешь, а Черного пужно застрелить.

— Радиogramмы не было? — быстро спросил Борисик, отрываясь от зеркала и цуная глазами Семенова.

— Нет, — Семенов коротко и шумно вздохнул, — не было радиogramмы. Ребята сегодня снова видели волчицу. Ты знаешь, что это значит.

— Что? — тихо спросил Борисик и прошел к умывальнику, — что это значит?! — закричал он, обернувшись к Семенову мокрым лицом. — Может, ты мне объяснишь, если ты такой умный?

— Это значит, — тоже закиная, закричал Семенов, — что она ходит к Черному! А за ней придет вся стая и тогда...

— Что тогда?

— Ты не хуже меня знаешь, что будет тогда. У меня ребенок. И жена боптается далеко отходить.

— Далеко отходить от станции вообще никому не положено, — сказал Борисик,

снова проходя к столу и паливая себе чаю, — можешь посмотреть инструкции.

Семенов молча смотрел, как начальник пьет чай, с хрустом разжевывая карамель.

— Ну ладно, — сказал он, сминая в руках шанку, — я тебя предупредил.

— Сядь, — ласково попросил его Борисик, доставая другую кружку, — сядь, пожалуйста, и давай поговорим спокойно.

— Давай поговорим спокойно, — хмуро согласился Семенов и как был в валенках и полупубке водрузился за стол. И пригладил белесые, сплывшиеся от пота волосы.

— Так-то оно лучше будет, — сказал Борисик, — а то пришел, накричал...

— Все равно я его пристрелю, — угрюмо пообещал Семенов.

— Ты сколько на станции? — спросил Борисик.

— Ну, три месяца.

— А я три года, — закричал Борисик, — и все эти три года она ходит сюда! И никакой стаи здесь никто никогда не видел. Известно тебе это?

— Известно, — начал Семенов, но Борисик его перебил:

— Ну, а раз известно, то и говорить не о чем. Черный — мой пес, и его я знаю немного больше, чем, извини, тебя. И то, что он муж, — он хмыкнул, — той волчицы, я этому не верю. И вам советую делать то же самое. А если, — добавил он, заметив, что Семенов начал подниматься, — а если ты все-таки не понял меня, то я тебя тоже предупреждаю: в него од-

пажды уже стреляли, так что, если промахнешься, жалеть будет поздно.

— Постараюсь не промахнуться, — хмуро пообещал Семенов и протопал к двери.

Борисик допил чай и убрал со стола. Последнее время он жил один, жена месяц назад спустилась в город рожать, и сейчас Борисик каждую минуту ждал от нее радиограмму. По их подсчетам она должна была родить не сегодня-завтра.

«Этот еще психопат павязался на мою шею», — в сердцах подумал он и стал одеваться.

Черного возле дома не было. Борисик немного посвистел, оглядывая редкий лесок, и пошел на радиостанцию. Радиостанция размещалась в большом двухквартирном доме, одну половину которого занимал Семенов с семьей. Сейчас он сидел на высоком крыльце и, уперев что-то в колено, викал пилельником. Борисик подошел и стал рядом. В руках Семенова был большой, на крупного зверя, капкан, и Семенов подтачивал на нем зубцы. От усердия на его мясистом лице выступили капельки пота.

— Вася, — тихо спросил его Борисик, — ты меня знаешь, Вася?

Семенов исподлобья взглянул на него, продолжая работать.

— За те три месяца, — Борисик сделал паузу на этих словах, — что ты меня знаешь, я тебя когда-нибудь обманывал?

Семенов бросил пилельник и зло посмотрел на него.

— Что тебе пужно?! Ты меня предупредил, я запомнил! Что еще?!

— Вася, я тебе говорил, что Черный никакого отношения к волкам не имеет. Это помесь овчарки с лайкой. Ребятам могло показаться, что они видели их вместе.

— А вот мы посмотрим.

Семенов с силой растянул половинки капкана и отпустил их, и они клацнули, как мощные челюсти.

— Посмотрим, — пробормотал он, обматывая капкан тонким тросиком.

— То, что ты собираешься делать, — с тихим бешенством сказал Борисик, — у нас называют подлостью.

— Не надо, начальник, — недобро сощурился Семенов, — тратить зря таких слов. Прибереги их для другого случая. Пригодятся еще.

И, повернувшись к нему спиной, вошел в дом.

Борисик, напрыгавшись, несколько минут смотрел на захлопнувшуюся дверь, потом отпустил себя и пошел на радиостанцию. Радиограммы не было, и он вернулся к себе. Снова посвистел. Из-за угла выскочила вечно голодная собачонка Бела и, ткнувшись в пустую миску возле крыльца, просительно замотала хвостом. Бела на станции была пичейной собакой и кормилась тем, что найдет.

«Вот жизнь собачья, — подумал Борисик, вынося ей кусок ссохшейся в камень вчерашней каши, — даже хозяина своего нет».

Бела схватила кусок и, подрагивая от голода и жадности, полезла под крыльцо.

Борисик зашел в дом, взял ружье, сыпанул в карман горсть патронов, вынес лыжи и пошел через лесок в сторону ледника, откуда приходила волчица.

Он спустился в пойму реки и пошел вдоль набитой тропы, по которой ходили на ледник сотрудники станции. Лесок скоро кончился, справа и слева открылись слегка присыпанные снегом каменистые горы, двумя краями своеобразного клина замыкающие ущелье; в конце его высилась бледная в зимнем безсолнечном свете одинокая вершина, которую огibal зеленоватый ледник. Где-то там и ходила волчица. Борисик прошел поперек поймы и скоро наткнулся на следы Черного. Они вели к леднику. Борисик проверил ружье и покатился по ним. Неожиданно из-за груды камней он услышал низкое приглушенно-угрожающее рычание и остановился, ощупывая рукой приклад. Потом рычание сменил знакомый залихватистый лай, из камней высоко-

чил Черный и широким махом, взметывая снежную пыль, пошел навстречу Борисику. Борисик перевел дух и отпустил ружье. Не добежав немного, Черный остановился и настороженно взглянул на хозяина, потом оглянулся на камни и глухо, по без угрозы, зарычал. Там что-то мелькнуло, как тень, и пропало.

«Значит правда», — подумал Борисик, сдергивая с плеча ружье.

Первый выстрел хлестнул по вершинам гор, выбивая из них ответный грохот. Борисик подождал немного и снова выстрелил в воздух. Где-то, уже вдали, у подошвы ледника, снова мелькнула серая тень.

Черный, вытянувшись, смотрел в ту сторону, где она исчезала.

— Ну вот и все, — сказал Борисик, протягивая к нему руку, чтобы погладить, — сохранили от дураков твою собачью жизнь.

Черный вдруг присел и оскалился. Борисик отдернул руку. Ему показалось, что в белых сейчас глазах Черного стояла ненависть.

— Черный, — ласково позвал он, медленно подходя к собаке, — ну что ты, дурачок. Ты ведь не волк. Ты же самая настоящая собака. Ну, пошли домой. Домой, Черный! — неожиданно крикнул он.

Черный, не мигая, смотрел на него.

— Домой, — властно повторил Борисик. Черный прижал уши и, оглядываясь, побежал к стапции.

Дома Борисик бросил ему кусок заготовленного себе на обед мяса и немного подождал. Черный будто успокоился. Тогда Борисик навесил на дверь замок и снова пошел на радиостанцию. Радиогаммы не было. Из окна он увидел Семенова, прошедшего с рюкзаком в сторону ледника. Лицо Семенова было сосредоточенным и насупленным.

«Опоздал малость, — удовлетворенно подумал Борисик и усмехнулся, — думаешь; я зря здесь три года прожил?»

Радиограмма пришла поздно вечером. Борисик весь день просидел дома, со-

ставляя месячный отчет и выходя только, чтобы узнать насчет радиогаммы. Принес ее молодой парнишка, студент-практикант, и еще с порога закричал, размахивая узким белым листиком:

— Пляши, Степаныч, сын родился!

Борисик выхватил у него листок и прочитал: «Родился сын. Вес три пятьсот. Рост пятьдесят. Люблю, целую.

Вера».

— Ну, Серега, — тоже закричал забывший все от радости Борисик, — да за такие новости я тебя!..

— А как же, — шутливо подтвердил Серега, — просто так тут не отделаешься.

Через полчаса в дом пабились сотрудники станции, поздравляя и заставляя каждый раз читать радиогамму вслух. Разошлись поздно, за полночь. Борисик запер за ними дверь, чтобы Черный ночью не сбежал, прочитал радиогамму еще раз и счастливый лег спать.

Утром, когда он брился, разглядывая в зеркальце опухшее лицо, снова пришел Семенов и хмуро позвал:

— Выдь, посмотри.

Черный, лежащий в углу, прыжком встал на ноги, обнажая в зобном рыке острые клыки. Борисик прикрикнул на него и вышел. Рядом с крыльцом лежала мертвая волчица. Передняя лапа, почти перебитая, неестественно торчала в сторону, а на нее и груди мерзлым комом застыла кровь.

— Можешь выпускать своего пса, — сказал, кусая папиросу, Семенов, — с этим делом я покончил, — он выдул дым, — с ней и с ее щенками.

— Какими щенками? — не понял Борисик.

— На сносях была, — объяснил Семенов.

Борисик присел и сунул руку к животу волчицы. Там что-то плотно и упруго подолось.

— Вот так, начальник, — сказал Семенов, — а то говоришь, три года. Нам и трех месяцев хватило.

Он взял волчицу за кровавой затылок

и, волоча ее по снегу, пошел к себе. Борисик смотрел ему в спину. «Значит, не смог я, — тяжело думал он, — Черный мне верил, а я не смог».

Он повернулся и открыл дверь. Мимо мелькнул Черный и, прыжком махнув с крыльца, с разлета вскочил на плечи Семенову. Не ожидая удара, тот упал. Черный, рыча, рвал ему ворот полушубка, добираясь до горла.

— Черный, назад! — закричал Борисик, подбегая и хватая его за загривок. — Фу!..

Семенов молча втягивал голову в плугу, спасаясь от словно взбесившегося пса. Борисику наконец удалось оторвать Черного. С усилием он приподнял пса, удерживая на весу. Черный извернулся и хватил его за ногу. От неожиданности Борисик отпустил Черного и тут заметил, что Семенов, лежа, пытается дотянуться до отлетевшего в сторону ружья. Толкнув погой Черного, Борисик выхватил из-под рук Семенова ружье, взмахнул им, озираясь, и с силой ударил о дерево. От приклада полетели щепки. Борисик с остервенением бросил ружье в снег и повернулся к уже поднимающемуся Семенову. Черный, тугой, как пружина, смотрел на них, ощерившись.

— Вот что, Вася, — задыхаясь от бешенства, сказал Борисик, — чтобы завтра тебя на станции не было. Все. А за ружье я тебе заплачу.

— Я же тебя, — Семенов, оглядываясь на собаку, угрожающе потянулся к нему руками, но Борисик перебил его, стараясь

не кричать, чтобы не подтолкнуть этим готовую броситься собаку:

— Все! И не пугай меня. Это я вчера думал, что ты зеленый, сегодня, вижу, ошибся. Так что знаю, что говорю. И ты знай. Повторять не буду.

Они в упор смотрели друг на друга, потом Семенов медленно обошел Борисика, отступая к дому. Борисик поднял из снега ружье. Замок был помят, и Борисик снова кинул его. Потом сильно взял за шею упирающегося Черного, завел его в дом и вернулся к волчице. «Зарыть надо где-нибудь, — подумал он, — чтобы Черный ее больше не видел. Хватит того, что уже было».

Подождал практикант Серега и присел рядом с волчицей, восхищенно трогая ее густой мех.

— Твоя?

— Помоги-ка, — не отвечая на вопрос, сказал ему Борисик, поднимая волчицу за передние лапы.

Вдвоем они отнесли ее подальше в лес, нашли яму под вывороченной пихтой и, бросив туда зверя, завалили ветками.

— Что-то я ничего не пойму, Степаныч, — нерешительно спросил Серега, когда они пришли назад, — там же на две отличные шапки меха было.

— Сейчас, — бросил Борисик ожидающему Сереге и прошел в спальню. Оттуда вышел с ключом от стоящего в углу маленького сейфа, отпер его и сложил туда ружейные патроны. Потом запер сейф, а ключ передал Сереге.

— Спрячь, — сказал он, усмехаясь. Его недоброе лицо сильно передернулось.

Юрий Пыль

ПЫЖИКОВАЯ ШАПКА

Рассказ

«Опять надерусь, это уж точно, — думал Тимофей, мерно покачиваясь на заднем сидении такси. — Сколько говорил

Маринке: кончать надо с этими вечеринками, сойду же ведь к черту. Так не-ет, друзья, то, се. Друзей, мол, терять нель-

зя, они всегда выручат. Много они навырочали. Друзья, пока я на выгодном месте работаю, а уйди я завтра со стройки — и все. Тю-тю друзей-то».

Мысли были неприятные, они тяжело ворочались в голове, Тимофей морщился, но думать больше было не о чем. Не было ничего другого. Была работа, которая ему не по праву, и была жена, властно подающая команды шоферу.

И то и другое было по гроб жизни.

Вот недавно предлагали же ему преподавать в строительном техникуме. Зря предлагать не будут. Значит, голова есть — цепят. И чего бы не пойти? Зарплата в два раза больше, отпуск всегда летом и большой. Нет, Мариночке это ни к чему, отговорила. Да какой там отговорила — просто запретила. А почему? Достать в техникуме ничего нельзя: ни краски, ни половой рейки, ни шифера. А зачем он тогда друзьям-то? У них ведь дачки, гаражики, да еще свои друзья, а у тех тоже дачки...

Тимофей тяжело вздохнул, с нарастающей неприязнью глядя в широкую спину жены, восседающей рядом с шофером.

«Знает же, знает, что напьюсь, а все равно тащит за собой. Да я и сам бы ее не отпустил одну.

Нет, вот взять один раз и не напиться. Притвориться, что пьяный в стельку, а сам чуть-чуть... Или вообще не пить, лучше минералочки, а то только начини...»

За окнами мелькали дома, деревья. Тимофей ничего этого не видел, он полузакрыв глаза, думал, злясь на себя за свою слабость и на Мариночку. Больше на нее, опять же из-за своей слабости...

«Нет, не пить... Вот бы поглядеть на женушку, что она будет вытворять. А то задержится до одиннадцати — совещание; почему спиртным пахнет — после совещания банкетик, а как же; мужики по выходным звонят — деловые разговоры; собралась, ушла — деловые встречи. В сущности она давно уже на меня, на все мои подозрения, опасения плевала... И не девочка уже, далеко не девочка — сын Сер-

гей школу заканчивает. Нет, нету ей терпелю. А скажи что — когтями в морду целит. Главное — Серега видит все. Аж неудобно иной раз становится. Перед самим собой неудобно и перед сыном».

Приехали. Жена небрежно сует пятерку шоферу. Сдачи не ждет.

«Где это мы? — думает Тимофей, шагая за женой к подъезду девятиэтажки и осматриваясь. — А, «Радуга»... хороший магазин, от дома до него не больше трех рублей на такси настукивает. Раскидывается женушка деньгами. Шикует. А чего не шиковать за чужой счет, за чужую душу...»

Друзья за услуги тащили ему все, начиная от курицы и кончая соболиными шкурками. Он виделся себе в такие минуты каким-нибудь сборщиком податей, а Марина вроде дружины боевой, подарки принимает как должное, глазом не моргнет, не покраснеет.

Интересно, куда такая прорва продуктов девается. Ну ладно продукты — делится с кем-нибудь, может, женушка, а вот вещи стали пропадать.

В прошлом месяце газовую зажигалку подарили — исчезла на второй день. Он уж пытал-пытал жену, намекал, может отдала кому, нет не отдавала, и все. Он ей про любовника намекает, а она уперлась — и молчок.

Или Жарквы притащили рубашку итальянскую — умопомрачительная, между прочим, рубашка... нет как нет рубашки. Хотел надеть сегодня, где, говорит, рубаха, женушка? А она: ты знаешь, Тимоша — сто лет так не звала, — знаешь, говорит, Тимоша, я ту рубаху выгладить хотела, пока ты на работе был, а она — раз, и съезжилась вся.

Тимофей ей — врешь, мол, ты, ничего ты не гладила, ее и гладить-то не надо было, врешь — хахалю отдала. А она: заткнись, Тимоша, пожалуйста, ну и как обычно в своем духе продолжила.

Лифт, наконец, приполз, они втиснулись в кабину и вскоре стояли перед обитой красной кожей дверью.

Открыл им хозяин, как всегда, элегантный Дим Димыч. Высокий, в очках, с небольшим брюшком, он приветливо улыбнулся Тимофею, поцеловал руку Марине и провел их в гостиную.

— Супруги Масловы! — шутливо представил их Дим Димыч.

Большая комната была слабо освещена, на диване, в креслах сидели люди, тихо разговаривали, переходили от группы к группе. На Масловых никто не обратил внимания.

«Интеллигенция! Цвет общества! — думал Тимофей ожесточенно, уголки губ его презрительно опустились вниз. — И мы здесь со своим свиным рылом. Ничего, сейчас за стол сядем, все одинаковые станем после второй рюмки. А что если мне и впрямь не пить? Заметит моя?.. А-а, заметит — выпью».

Когда уселись за стол, Тимофей среди множества бутылок с различными напитками нашел минеральную воду с труднопроизносимым названием и придвинул себе поближе.

Никто на него внимания не обращал, каждый занимался своим делом: ели, пили, разговаривали.

Марина сидела рядом с каким-то типом с профессорской бородкой, чернявым, с азиатским разрезом глаз. Он что-то говорил, смеясь и прижимаясь губами к уху Марины.

«Дура! Не могла мужика покрасивше найти. А может, и не этот сроду. Вон их сколько здесь».

Рядом с Тимофеем сидел уже немолодой мужчина. Тимофей знал, что в молодости он был поэтом. Хорошим ли, плохим — было все равно, в поэзии Тимофей не разбирался. Он знал, что теперь этот бывший певец музыки стал штатным гостем в домах, хозяева которых претеплуют на интеллигентность.

Поэт уже прилично надрался и теперь пытался завести разговор с Тимофеем.

Но Тимофей его не слушал, он был занят Мариной и собственными переживаниями. Сначала ему очень хотелось вы-

пить, и он старательно глушил это желание минеральной водой, до тех пор, пока в животе не забулькало. Потом ему стало даже интересно посмотреть на пьяные физиономии своих соседей по столу. Он старался представить самого себя после хорошего подпития, сравнивал себя с окружающими...

Напротив Тимофея сидел полный мужчина — завхоз театра, большой любитель поесть. Он и сейчас, не переставая, что-то жевал.

Рядом с ним сидела, закинув ногу на ногу, молодая девушка, одетая со вкусом, довольно миловидная. Она ничего не ела, только пила вино и не выпускала изо рта сигарету. К ней прилип парень в джинсах и вельветовом пиджаке.

Тимофей заметил, что Марина куда-то исчезла. Эге-е, подумал он, вот оно. Начинается.

Тимофей выбрался из-за стола и, покачиваясь, побрел в туалет.

Марина прислонилась спиной к входной двери в коридоре и, улыбаясь, что-то говорила стоящему перед ней молодому мужчине. Тот оперся руками о дверь и сильно наклонился к Мариному лицу. Мужчина был из тех, которым Тимофей всю жизнь завидовал: атлетическое сложение, греческий профиль и надменное выражение лица. Таким, считал Тимофей, все удастся, они просто шагают по головам других, слабых, не слыша даже хруста их костей. Тимофей их ненавидел, но в душе боялся. Ему все-таки хватило наглости, притворившись вконец пьяным, толкнуть локтем мужчину, отчего тот оглянулся и схватил Тимофея за шиворот.

Марина хихикнула и шепнула: «Не трожь его, это мой муж».

— Я плевал, — сказал атлет и отпустил Тимофея.

— Дура! — буркнул Тимофей, шагнув в безопасность туалета.

Продолжая игру, он вскоре вышел и, качаясь, убрел в темную спальню.

«Я говорила...» — услышал он голос жены.

Тимофей долго лежал поперец широкой кровати. Ему не хотелось выходить отсюда. Он хотел уйти домой, но какое-то оцепенение сковало руки и ноги.

Он ощущал физическое блаженство и в то же время злился на себя и на жену. Злился потому, что не знал, как себя вести дальше, злился на то, что Марина — такая хитрая и пронырливая — легко дала себя обмануть, поймать.

«Дура все-таки она, все бабы ду-ры!» — заключил Тимофей злобно. Чувство неловкости и близкой беды не покидало его, и страшило так, что под ложечкой сосало. В такие минуты ему в голову приходили мысли о смерти. Он думал, почему эти люди так ее боятся, смерти. Это же избавление от всяких мук. Вот сейчас ему в самый раз умереть. Не падо будет ничего предпринимать, а совсем наоборот — другие пусть хлопочут. Глядишь — еще у кого-то угрызения совести появятся. Ай-ай-ай, скажут, это мы его в могилу свели, мы во всем виноваты. А он будет лежать да посмеиваться. Впрочем, посмеиваться он тоже не будет. «Бр-р-р! Я ведь даже думать тогда не смогу».

В комнату кто-то вошел, раздался шепот, шорох рыскающих по ткани пальцев, тяжелое дыхание. Тимофей не шевелился.

— Марочка, Мара, — хриплый шепот резал уши. — Ну что ты, дорогая!

— Сдурел что ли, здесь же мой где-то.

— Спит твой алкаш, сейчас на нем... хоть пляши...

Два тела рухнули на кровать рядом с Тимофеем и тут же вскочили. Марина выбежала из спальни, следом убрался и парень.

«Надо же! — Мара! Никогда бы не подумал, что ее так можно называть. Скромница! — скрежетнул зубами. — Постеснялась бы при живом-то муже...»

Тимофей встал, не таясь вышел в освещенный коридор, подошел к двери в зал, крикнул в полумрак, перекрывая

грохот стереомузыки, танцующей Марины:

— Поехали!

Марина молча стала одеваться. Дим Димыч, такой же элегантный и трезвый, каким был в начале вечера, подошел проводить их. Не чувствуя напряженности в Тимофее, спросил вкрадчиво:

— Тимофей Ильич, вы мне кирпич обещали, не забыли?

Тимофей с появившимся откуда-то чувством превосходства, как человек, узнавший тайну всех этих людей, сказал жестко:

— Я помню. Я ничего не забываю.

И вышел, хлопнув дверью.

Марина бледная, быстрая в движениях, сбежала с лестницы, не дожидаясь лифта, выскочила на улицу.

Снег на улице скрипел по-январски, а воздух уже пах талой водой, прелыми листьями, весной.

Тимофей шагал по скрипучему снегу в некотором отдалении за женой, не стараясь ее догнать. Он считал, что прогулка будет им обоим только на пользу.

Желания уличать в чем-то жену не было, она и сама понимала, что разоблачена. Да и напши только... Она так изболелась!

В то же время падо было что-то делать. Его передергивало всего, когда он представлял Маришу в чужих объятиях, в объятиях того, атлетически сложенного парня. Тимофей и сам был не без греха, но то все мимолетное, случайное, так он считал. А Марина вообще его игнорировала. Может быть, он не устраивал ее как мужчина? На это не было даже намека, хотя особо горячих чувств к жене он никогда не проявлял, да и не было их на верное.

До сегодняшнего случая его голубой мечтой было развестись с женой и начать свободную от всяких обязательств жизнь. Раза два он пытался осуществить свою мечту, но Марина эти моменты чувствовала, становилась ласковой и нежной. Ее ласковость смахивала на кошачью, но

срабатывала безотказно. Тимофей размягчался, ему начинало казаться, что отношения с женой меняются к лучшему, надо только закрепить все это, выждать, а потом взять инициативу в свои руки, круто все повернуть и зажить спокойной честной жизнью.

Марина хорошо знала его характер. В конце концов все оставалось по-старому.

Сейчас ему казалось, что это конец, но никак не мог представить себя без Марины. Он не мог себе представить, чем будет заниматься, приходя с работы, в выходные дни. Сын паверняка уйдет с матерью. Останется только пить и подавать в газету объявления «ищу жену»!

Дома молча разошлись по разным комнатам. Шел первый час ночи, Серега почует у какого-то дружка. Врет, поди, шатается с какой-нибудь девчонкой. Сам молодой был, помнится. И любовь ведь была.

Тимофей побродил, не зажигая света, посидел на кухне. Спать не хотелось, думать не хотелось, не хотелось принимать решение.

В два часа включил чайник, заварил круто, до горечи. Пил, морщился. Не приняв никакого решения, пошел в спальню. Открыл шкаф, стал вытаскивать свои вещи. Подсознательно тешилась надежда, в которой не хотелось признаваться себе. Надеялся, что вот сейчас встанет Марина, обнимет, повишится, поплачет, а он для виду покуражится, а потом все-таки простит, и все войдет в свою колею, и эксперименты с минералкой он больше не будет.

Марина лежала тихо, и Тимофей думал, что она притворяется спящей, а на самом деле тоже сейчас переживает.

И вдруг он услышал в ночной тиши какой-то свист. Негромкий, регулярно повторяющийся свист. Он подошел к Марине. Спи-ит!

«Спит, гадюка!»

Комкая, стал засовывать рубашки, белье в шкаф. Потом открыл вторую поло-

вину, повесил шубу. Мелькнула мысль, что чего-то не хватает. Опять чего-то не хватает. Точно. В шкафу не было его пыхиковой шапки. В прошлом году ее привезли с севера знакомые. Подарили, так сказать. Он и не носил ее еще.

«Завалилась куда-нибудь, — думал Тимофей, лихорадочно выбрасывая прямо на пол дорогие платья жены, наступая на них ботинками и не замечая этого. — Помню же, она была завернута в газету. Нет, ни черта здесь нет. Неужели опять? Опять кому-то подарила. Кому? Ясно, хахалю своему!»

Перемаявшись, Тимофей, возможно, простил бы измену жены или смирился бы с ней, пайди тысячи оправданий, но пропажа шапки оказалась той самой каплей...

Он бросился к кровати, схватил одеяло, сдернул с жены.

Марина со сна вскрикнула, вскочила, не зная, куда деть руки.

— Тима, Тимоша, что ты, что ты! Не было у нас с ним ничего, — закричала она, прижимая к груди руки. — Ты же видел, Тима. Не впиовата я...

— Ты куда шапку девала, змея?!

Ярость охватила Тимофея. Он не размахиваясь ударил Марину в лицо, та упала на кровать, опять вскочила. Он опять ударил. Она попыталась закрыться руками, он сбил ее на ковер, стал с наслаждением пинать мягкое тело, все сильнее и сильнее распаляясь. Он ощутил в себе первобытного человека, победителя. Жена извивалась на полу, вскрикивала и все поровила встать на четвереньки.

Из обвинительного заключения по делу о нанесении тяжких телесных повреждений Масловой М. А.

«...В начале марта 1983 года несовершеннолетний Кузнецов, находясь в квартире своего приятеля Маслова Сергея и воспользовавшись тем, что он разговаривал по телефону, тайно похитил пыхиковую шапку...»

Петр Ворошилов

ЗАКОНЫ ВЫСОТЫ

— Около разложенного костра любой лодыр бока греет.

Сказали вслед, но громко и внятно сказали, чтобы услышал и понял: о нем это и для него сказано...

А ты сиди и думай, почему такое сказано. Беспочинная зависть ли, чужая ли корысть так проявилась и злым словом обмолвилась — живешь среди людей, а люди порой даже об одном и том же судят и рядят неодинаково; сам ли в чем-то допустил промашку — не рано ли на трибуну поднялся поучать тех, кто самого тебя пока в неучах числит?

Колхозный год у тебя сверстался лучше, чем у других? Урожай собрали добрый. Продуктивность стада самая высокая в районе. Все так. Но твой ли горох насыпали в погребушку славы?

Нынешнему председательскому героизму крестьянским миром тоже своя точная мера отмерена. Посылают тебя, к примеру, в отстающее по всем статьям хозяйство, а ты, молодой и ретивый, находишь там разные внутренние резервы, приводишь их в действие и обозначаешь явственное движение вперед. Тут тебе, конечно, почет и уважение. Прочие-то ведь на месте топтались или назад пятились. Очень это важно — движение вперед обозначить: счет наш от вчера достигнутого. Пошло хозяйство в гору, и ты в гору пошел, к тому перевалу, с которого все ветры дуют в спину.

Михаил Гаврилович Ковзиков — человек незаурядный, по-своему талантливый — этой нелегкой дорогой из конца в конец прошел. Случалось, плутал. Бывало, оступался. Иной раз такой кряк делал, что его попутчики за

голову хватились и в сторону шарахались, пугаясь не трудностей, а запретного.

«Крепко мужик на земле стоит. Хозяин!»

Это о Ковзикове говорили.

«Делец! С таким за один стол не садись — голодным останешься. Умеет ложкой работать и мимо своего рта не пронесет».

И так говорили.

«Стяжатель растет. Украсть не украдет, а в долговую яму посадит и спать пойдет со спокойной совестью».

И это о нем же, о Михаиле Гавриловиче.

Промышленновский район большой, но впереди идущий колхоз у всех на виду. В газетах о нем писали, по радио оповещали. Сам Ковзиков, одетый жених-женихом, не раз золотозубо улыбался с экрана телевизора, рассказывая о последних трудовых достижениях. Кроме того, исправно действовал и беспроволочный телеграф. Тараторка Власьевна, вернувшись с базара, такой мужу-бригадиру букет достоверных новостей поднесет, что у того голова от всяких предположений и предложений, как улей, гудит. Разбирайся, что к чему. Ковзиков, как ни примеряй, хозяин был оборотистый, умел заветным словцом с землей перекинуться, скотинку в теле держать. Но ведь остальные-то председатели тоже бестолочью не маялись. Ковзиков — хлебороб от бога. Но и Баклыков на степном конском выгоне, где роса и та выпадает по престольным праздникам, наловчился богатую пшеничку выращивать. Ковзиков к прибыльному делу среди ночи прямую дорожку находил. А у Ахмометьева разве что из горсти выпадало? Ковзиков не стеснялся к своему уму и чужую, того стоящую мыслишку пристегнуть. А Фе-

дирко, Григорию Матвеевичу, даже пристегивать ничего не требовалось, своего ума — палата. Вот и догадайся, какой бес ему, золотозубому, надвое ворожил? Как он к имеющемуся на банковом счете миллиону за год успел еще полтора приписать?

Удобно мыслить категориями, проверенными временем и обстоятельствами. Что-то в этом есть от ленности ума, от боязни встречи с новым, неведомым, которое грозит непредсказуемыми последствиями, что-то от привычки бережно и уважительно относиться к опыту предшественников, жизнь которых была и остается примером. Дела отцов — удел сыновей, их главное и самое богатое наследство.

Всегда и для всех?

Ковзиков так не думал. Он понимал, что всякое производство лишь тогда что-то стоит, когда оно шагает в ногу со временем, непрерывно обновляясь, жадно впитывая в себя достижения науки и техники, лучшие приемы труда, лучшие методы организованности и дисциплины, что, меняясь и совершенствуясь, развивающееся производство призывает к руководству таких исполнителей, которые твердо знают, что им надо делать, подготовлены к тому, чтобы порученное им дело делать хорошо. Понимал и соответственно действовал.

Экономическая реформа шестидесятых годов поставила село перед лицом больших перемен, затронувших основы его основ. Колхозы получили широкую самостоятельность. У них появились свои свободные деньги. Сотни тысяч, миллионы рублей! Потребовался исполнитель, который, планируя объемы затрат, мог заранее рассчитать их прибыльность, детально разобраться в хитросплетениях хозрасчета, предугадать конъюнктуру рынка на длительную перспективу, чтобы работать не на склад, а на конкретного потребителя, торговать и не проторговаться. В этой обстановке и расцвели коммерческие способности Ковзикова.

Вокруг еще невнятно поговаривали о материальном стимулировании, проводили эксперименты, а в «Ударнике полей» уже ввели гарантированную оплату труда, хлебом с механизаторами рассчитывались со скидкой, без скупости установили доплату за повышение урожайности, за сверхплановые надои, за бережли-

вое расходование материалов и горючего. А как же иначе? Прибыли создаются трудом, и только трудом. Работник же, который работает без интереса, абы как, плохой работник, в деревне их дармоедами зовут.

Редкий хозяин, собрав урожай, не поторопится вывезти его на приемный пункт. Не потому даже, что очень ему хочется быстрее отпартовать о выполнении первой заповеди хлебороба. Просто хранить тому хозяину урожай негде, он и спешит сбывать его с рук. В «Ударнике полей» построили механизированный ток и стали сами подрабатывать зерно до семенных кондиций. В закромах центнеров при этом не добавилось, зато денег в кассе было: за семенное зерно цена гораздо выше. Построили мельницу. Около 30 тысяч рублей за нее выложили на кон. Зато сократился расход концентратов на собственные нужды, так как размолотое зерно лучше усваивается животными. Фуражиры скопом потянулись из соседних хозяйств. За помол колхозу плата, отходы от того помола колхозу же достаются бесплатно. Кормовые отходы! За год набежал 50 тысяч чистой прибыли.

Ковзиков предугадал высокую рентабельность птицеводства, которое уверенно переводилось на промышленную основу. На внеочередном заседании правления, где обсуждался проект колхозной птицефабрики, он говорил:

— Инженеру тут больше работы, чем зоотехнику. Комплексная механизация и автоматизация. Электромоторов — как на заводе.

Со счета собьешься. Всякие приборы мудреные. Осилим с нашими деревенскими кадрами? А дело стоящее, деньги сулит верные.

Пришлось перетряхнуть типовой проект, чтобы надежно привязать его к реальным сибирским условиям. Птичники утеплили, несколько усилили активную вентиляцию. Много времени отняла наладка технологии. Фабричные сушилки ведь в клетках сидят, ни жучка и ни червячка им с полу не склонуть. Все нужное в корме подай. Но фабрику колхоз построил и скоро, и ладно. Деревенские парни и девчата, имея за плечами солидную общеобразовательную подготовку, не подвели, разобрались в технических новациях, поэтому все обошлось благополучно. Внес свои поправки в

проект и Ковзиков. Договорился с городскими торгами, выделил для фабрики специальный автотранспорт, и 45 тысяч клеточных куриц стали нести не простые яйца, а диетические, не золотые, вроде, но уже позолоченные: цена им в магазине не 90 копеек, а полновесный рубль и 30 копеек в придачу.

Как-то сказали Ковзикову, что в Кемерове подготовлены к сносу две улицы индивидуальных особняков. Съездил, присмотрелся, приценился и послал людей разобрать дома, перевезти их в колхоз. Не погнушался миллионер нагнуться за брошенной копейкой. Не от нужды великой. Но характер-то не переломишь.

Ковзиков не открыл новых закономерностей в экономике колхозного производства. Но для него не было тайны в том, что в хозяйстве социалистического типа деньги тоже должны работать. Как работать и на кого работать — суть и разница лишь в этом. У Ковзикова деньги работали, и хорошо работали, во имя того, чтобы крепили силы колхоза, чтобы людям их коллективное хозяйство приносило достаток, радость, моральное удовлетворение.

Многое в «Ударнике полей» и сегодня связывают с именем безвременно умершего Михаила Гавриловича. Наверное потому, что на пору его председательствования приходится период становления, а затем и быстрого расцвета колхоза. Такое, разумеется, не забывается. Прошлое в наших воспоминаниях всегда немножко приукрашивается, предстает в эдаком романтическом ореоле, радость из того прошлого уж если бьет, то через край, слеза же застилает глаза самая горькая. Это у нынешнего тракториста 700 лошадиных сил в одной упряжке. А ведь и так бывало, что пахарь к одной отоцвавшей от бескормицы лошаденке сам припрягался, плуг не просто в борозде держал, но и подталкивал.

Иван Иванович Ясько колхоз «Ударник полей» принял от Михаила Гавриловича Ковзикова, как сокола на взлете. С миллионными доходами, с отлаженным производством. Препевающим принял.

Так может в чем-то прав тот, бросивший вслед злое слово? Сидит себе Ясько и у чужого костра бока с двух сторон греет? В чем

его-то геройство? В том, чтобы сделанное не сломать, не потерять впопыхах, не растратить попусту? Но это же не геройство, а обязанность.

Все так. И не так.

Крепкое хозяйство оставил после себя Ковзиков. И память о себе оставил добрую. Что есть, то есть — не отнимешь. А вот легкой и беззаботной жизни своему преемнику оставить не мог. Такая уж эта председательская должность, что всякому и всегда она является в другом облики. Не подкинь в пылающий костерок дровишек, погаснет он, пепел от него лишь останется, да еще черная, долго не растающая проплешина.

Рос Ясько в казахстанском целинном совхозе. Крестьянского человек роду-племени. А работать начал машинистом крана в литейном цехе металлургического завода. Закончил институт механизации и электрификации сельского хозяйства в Челябинске. А направлен был в Кемеровскую область, в ее Промышленновский район. Думал о том, как по весне выведет в поле свой первый тракторный отряд. А его назначили главным инженером, потом директором РТС. Не для себя искал, а так обстоятельства складывались. С радостью принял приглашение в «Ударник полей», знания требовали обкатки практикой, непосредственным участием в организации машинной обработки земли. Уроки Ковзикова не только прослушал, но и проверил на деле. Потому, наверное, когда ему предложили возглавить колхоз, дал согласие.

Он без опаски встал перед лицом колхозного собрания. На собраниях этих решающий голос принадлежит механизаторам. А с трактористами, комбайнерами, шоферами он, главный инженер хозяйства, пять лет ровным счетом одни гайки крутил — и под дождем, и на морозе. Научились друг друга понимать с полуслова. На животноводческих фермах, густо начиненных техникой, тоже свой парень, к инженеру за помощью чаще обращаются, чем к ветеринару. На празднике последнего снопа шумливые доярки именно его посадили во главе своего стола и так сочно нацеловывали, что родная жена бровки хмурила.

Не славы искал, искал работы. Но и сомнения одолевали.

Говорят: не зная броду, не суйся в воду. Ну а если ты знаешь, что в бросе том полно коряг и промоя, что в ненастную погоду он внезапно вскипает бурливой водой, то легче, что ли, туда сунуться?.. Да, ему предложили возглавить не отстающее хозяйство. Больше того, предложили хозяйство, которое он досконально знал, частенько, когда Ковзиков уезжал в отпуск или болел, исполнял председательские обязанности. Не с чужого плеча костюм примерял, многие швы на том костюме по его фигуре были наметаны и уж потом прострочены. Со стороны посмотреть — всего и забот, что из своего кабинета тихо переселиться в кабинет напротив. Только не всегда со стороны виднее, бывает и так, что на себя надо изнутри взглянуть. Должность — подруга временная, расчетливая, она тебе предоставляет положение в обществе, возможность проявить свои способности, соответствующую зарплату, а ты ей — всего себя отдай без остатка. Оставаясь исполняющим обязанности первого руководителя, Ясько мог отложить и, случалось, откладывал решение наиболее острых, спорных вопросов до возвращения Ковзикова. «Вот придет Михаил Гаврилович, с ним обмозгуем и постановим». А теперь кого ждать? Ему доверяют одно из лучших в районе хозяйств, которое не следом идет, а передом, остальным дорогу прокладывает. От председателя такого хозяйства требуется особая зоркость, чтобы не сбиться с дороги. Есть повод задуматься, просчитать варианты? Есть. Экономическая реформа выдвинула в председатели Ковзикова. «Ясько ли нужен, не вчера, не завтра, а именно сейчас, когда село вступило в бурный период интенсификации производства?

Председателя избирают на общем собрании колхозников. Утверждают в должности органы районного управления. Должность эта теперь введена в номенклатуру обкома партии и облисполкома. Не парадности ради, а во избежание возможных ошибок. Тут, право, не грех и подстраховаться. Дом в одночасье может сгореть, а попробуй взамен построить новый. Ясько вступительные экзамены на председате-

ля колхоза выдержал, набрал проходные баллы. Но каждый первый руководитель не только избирается и назначается, он ведь еще должен состояться как руководитель, как человек, которого слушают и слушаются.

Тогда сказанное вслед злое слово Ясько не забыл. Набравшись духу, объясняться поехал в колхоз имени Ленина, к Григорию Матвеевичу Федирко, негласно признанному тогда вожаку команды председателей колхозов и директоров совхозов Промышленновского района. Поехал не счеты сводить, правду искать поехал. Встретил его Федирко как равного, в приемной ждать не заставил, из-за стола поднялся, за плечи обнял. Правда, сами по себе эти знаки внимания еще ничего не доказывали: служебный кабинет, равно как и квартира, у Федирко перед всеми не запирались. Люди шли к нему не за резолюциями, а за советом, он не имел привычки оттолкнуть человека, ищущего участия, но сам не любил ходить с душой нараспашку, набиваться в приятели. Усадив Ясько, Федирко неторопливо закончил разговор с бригадиром, определив задание на неделю. Дело есть дело, с ним поспешать вредно. Сидячий разговор не сложился. Прошлись, хозяйство посмотрели. Проехали на поля. Федирко показал два пруда, до краев затопившие вместительную степную балку, сказал:

— Для скота водопой оборудовали. Ребятня карасей ловит. Но думка такая имеется: соберемся с силами и качнем воду на луга. С одного гектара можно столько взять, сколько с десяти не набираем. Никудышные мы пока, друг мой, землепользователи. Взять ловки, дать ленивы.

— Мы на Романовский рям нацелились. — Ясько понял, что о своем затаенном Федирко не случайно заговорил. — Рям тот — топь непролазная. А место просторное. От центральной фермы неподалеку. Если осушим да травы подсеем, с кормами будем. И выпаса можно оборудовать.

— Успел договор с мелиораторами заключить? — спросил Федирко.

— Не получилось, — ответил Ясько. — Ковзиков еще провел партизанскую операцию. Персональную «Волгу» променял Сельхозтех-

нике. Без убытку. Новехонький бульдозер нам достался. К нему автокран с грузовичком. К ним наши трактора летом припряжем.

— Умел Михаил Гаврилович обернуться, — улыбнувшись, сказал Федирко. — Но я этого не одобряю. Не нашел ведь те машины на поляне. Взяв их себе, у других отнял. У него, как у попа, сдачи дающему не было.

Вечеряли жареным гусем. И опять говорили. Говорили о том, что разных они колхозов председатели, а заботой одной повязаны. Бывает ведь так, что не вытанцовывается у тебя в нынешнем месяце план по молоку или по мясу, выговор в личное дело сам напрашивается. Почему бы не помочь по-соседски, снять напряжение в райкоме партии? В разгар уборочной у Сельхозтехники нужной шестеренки иной раз и на коленях не выпросишь. А у тебя в заначке нет ли? Говорили о том, о чем говорят между собой председатели, четко определяя границы возможного и дозволенного, о правилах игры, когда надо доказывать готовность не только черпать из общего котла большой ложкой, но и что-то положить в общий котел для навару.

— Ты без обиды живи, — напутствовал Федирко. — Председателем в один год не становятся. Время покажет и подскажет.

Дожди тем летом выпали лишь в конце июля. На полях, заморенных засухой, дружно и споро пошел в стрелку подгон. Сентябрь кончается, а пшеничка стоит, как лук, зеленая. Начнешь косить в установленные сибирской природой сроки — получишь на круг 8 центнеров зерна, еще кучу соломы, которая по кормовым достоинствам не уступит сену. Дашь колосу подгона налиться — будет по 20 центнеров зерна и та же солома, которая своих кормовых достоинств не потеряет. А если не успеет колос набрать силу и вес? Если уйдет урожай под снег? Ничего тогда не получишь, даже семена не вернешь.

Выбирай, хлебобоб, варианты, ты — хозяин, твоя воля, с тебя спрос.

Были такие, кто выбрал первый вариант. Не от испугу. Робкого кто в председательское кресло посадит? Тут нужны люди покрепче. Но не в каждом хозяйстве достаточно мощи, чтобы убрать урожай за неделю. В «Ударнике

полей» решили ждать. Собрать в кулак технику, полевые бригады доукомплектовать, дежурить круглосуточно у межи. Но ждать!

Сухой колючий снег падал всю ночь. Два сантиметра снежный покров... Это еще не страшно. Пять сантиметров снежный покров... По такому полю автомашина не пройдет, у кромки увязнет. Десять сантиметров снежный покров... Это уже беда — ни косить, ни молотить комбайны не смогут. В такие вот ночи и начинают сесть председатели. Забота общая, а ответственность персональная.

Но разогнал ветер снежные тучи. Наступила ясная, солнечная погода. Она продержалась всего четыре дня. И эти четыре дня и еще четыре ночи к ним люди работали так, как умеют они работать на пожаре, как работают на уборочной, не зная сна и не требуя отдыха.

Они успели. Все успели сделать: взял колхоз по 24 центнера первосортного зерна на круг, сам план перевыполнил, району помог погасить часть долга.

Зауважали Ивана Ивановича Ясько, признали его таланты? Зауважали, конечно, но не так чтобы шибко. Ну, вытацил счастливый билет, выигрышный. Только чужим счастьем сыт не будешь, в поминальник опыта его не занесешь: к тебе-то фортуна может повернуться не сияющим ликом, а тем, что у нее с другой стороны. Бывало же, что скошенный в валки хлеб зимовал себе под снегом, давая по весне отличные намолоты. Цены тому фуражу не было. Однако и так бывало, что по весне имел хлебобоб за труды здоровенный кукиш, а зерно дочиasta поедали мыши. Тварь плодovitая, где голод и мор, там и трубит плод.

Молодому трактористу, приехавшему из Камешков, Ясько наотрез отказал в приеме в колхоз. Причина для переезда у тракториста была какая-то вздорная: с тещей, видишь ли, не поладили. Никак у Ясько не укладывалось в сознании, что из-за этого можно бросить родное село, бросить тобою вспаханное поле, обжитой отцом дом. Да и какой ты к бесу работник, если в семье порядка не можешь поддерживать? А вот когда на заседании правления разбиралось заявление Ирхата Муллахмедовича Валеева, он трижды выступал и убедил-таки остальных в своей правоте. А нелегко

было убедить. Сам глава семейства Валеевых сомнений в своей пригодности к работе в колхозе не вызывал. Происхождения деревенского. Смолоду пас гурт скота. К лошади приучен. В городе работал плотником. Тоже для села нужная профессия. Мужчина в годах, но крепок — в плечах широк и руки такие, что впору пятаки гнуть. Готовый гуртоправ, которые позарез нужны. А строить сколько надо, а ремонтировать?.. Но сам Валеев-старший в семье счетом одиннадцатый, девять ребятишек мал мала меньше за ним числятся. Жена с грудным ребенком нянькается, тоже пока не работница. Это как к заявлению приложить? Колхоз — рабочая артель, а не благотворительное общество. И речь идет не о разовой помощи, о том речь идет, чтобы взять на прокорм большую семью, причем не на год-другой, на десяток с лишком лет. Кому кормить? И не впроголодь, а досыта. Колхозная ребятня не хуже прочих одета и обута. Значит, и в школу в чем есть не отправится — гордость не позволит, душа противится. Любовь к земле не с генами передается, она воспитывается. Ребятня же на плохое и хорошее памятлива. Многодетной семье негоже в избушке ютиться. Выходит, надо крестовый дом ставить.

Голосуй, а рука лежит на столе, как припиленная. Но Ясько на общие счета что бросил? Колхоз должен не только поголовье наращивать. И работников растить тоже обязан. Если не мы, то кто?

Приняли Валеевых в «Ударник полей». Колокольным звоном разнеслось то голосование по колхозным весам. Не жалость, не проявленное сочувствие людей в умиление привели. К этому мы приучены. В том существенное увиделось, что колхозное производство не отрицает, а утверждает человеческое начало, что общее наше богатство мы накапливаем для того, чтобы среди нас не было бедных, обездоленных.

На бюро райкома партии Ясько, как и другим председателям, предложили создать овощеводческую бригаду, закупить необходимую технику, выделить соответствующие пахотные земли. Задание установили. Не блажь ударила в голову членам бюро. В городах не хватало овощей, в иных магазинах к зиме оставались

лишь привозные маринады в банках. Меры тоже были приняты обычные, сработал механизм уравнительного планирования. Производство овощей — дело хлопотное, трудоемкое, дорогостоящее. Поэтому издавна повелось, что все тяготы этой повинности распределялись по справедливости — на всех и поровну. Из областного управления рассылались усредненные планы по районам, районы разверстывали планы по хозяйствам, подкрепляя их обязательность решениями партийных и советских органов. В этой потере выигрыши были чисто случайными, а проигрыши необременительными. Десяток гектаров моркови или капусты не могли ни улучшить, ни подорвать экономику хозяйства. Поэтому бунтовать особой причины не было. Урожай мизерный? Это уж как бог даст. Сам же можешь считать, что десяток гектаров отводил ты под пропашные, чтобы земля отдохнула. Весной проведешь на них поверхностную лущевку, приглушишь сорнячки, и все обойдется. А Ясько взбунтовался...

«Ударник полей» имеет заливные луга в пойме Ини. Почти полгода колхозные стада набирают молоко на даровых подножных кормах. Надо эти природные условия и использовать с большей выгодой. Узкая специализация помогает ввести комплексную механизацию, быстрее подготовить кадры, улучшить породный состав скота и превратить молочное животноводство в доходную высокорентабельную отрасль. Зачем же сбиваться с правильного избранного пути? Овощи нужны? Нет вопроса. Давайте создадим специализированные овощные объединения. Никто ради десятка гектаров не затеет строить оросительную систему — капитальные затраты не окупятся. Масштаб не тот. Кроме того, только в специализированном хозяйстве ищет своего союзника и большая наука.

— Вот и специализируйся, — сказали ему на бюро. — Бери на свой кошт все районные поставки овощей и действуй в содружестве с наукой. У нас никаких возражений нет. Напротив, будет с кого спрашивать.

Жестоко? Да, жестоко. Однако справедливо. Каждого из нас можно сравнить с человеком, идущим по дороге с зеркалом. Но один в

нем лишь себя видит шагающего, для другого же в том зеркале весь мир, как в капле воды, отражается. Председателю колхоза надо помнить об этом. Принял «Ударник полей» без малого весь районный план по картофелю. Плантацию оснастил новейшей техникой, о семенном материале позаботился, нужных специалистов нашел способ пригласить. Так они, настоящие дела делают. Иначе-то вместо дела одни досужие разговоры.

Как-то Ясько сказал мне:

— Встретить умного, хорошего человека — это лучше, чем случайно клад раскопать. Нет капитала надежнее, чем мудрое слово, дельный совет.

Встретил Ясько своего хорошего человека. Как не встретить, если сам ищешь такой встречи? На совещании в Москве он познакомился с Михаилом Григорьевичем Лобиковым, председателем вологодского колхоза «Родина». Слово за слово, о тамошнем житье, о здешнем бытие. Узнал Ясько, что в той «Родине» на тощих суглинках получают с каждого гектара по 40—45 центнеров зерновых. Да не в какой-то особенно благоприятный по погодным условиям год, а постоянно. Как? Почему? Буквально засыпал коллегу вопросами. Может, удивительные агроприемы люди открыли, чудесные семена вывели?

Лобиков ему целую лекцию прочитал, смысл которой сводился к вещам простым и общеизвестным.

— Мы возвели себя в ранг царей природы. Спим и видим, как побольше от нее взять. А давать кто будет? С поля ты, поди, все до зернышка вывез? Солому прибрал? Полову? А что на поле завез? Чем за урожай расплатился? Был бы дождь да гром. А зачем нам агроном? Сводки подписывать? Наряды закрывать? Покончили с уборочной, напахали зяби — трактора на прикол, до морковкиного заговенья ремонтируемся, лишь бы в посевную не оконфузиться. Называется, бережем технику, похозяйски ее используем. Вранье это, обман натуральный. Трактору в поле место. Зимой, как летом. Под пары и пропашные мы закладываем по 18—20 тонн органики на гектар. По такому агрофону сеем зерновые. Отсюда и начинается урожай. И другое учли. Наши

предшественники и мы сами истолкли землю в пыль. Природа колесо не изобретала. Нечем от него земле защититься. Болеет она, давно и тяжело. А мы что делаем? Без ума и меры знай себе впрыскиваем стимуляторы в виде минеральных удобрений и радуемся, что старушка бодрость духа не теряет. А ее — кормилицу — лечить надо. Как? Так, как землю лечат. Пахотный слой наращивать, гумуса добавлять. Испокон веку работали на земле знахари, теперь ей нужны лекари. Под это окошко положен ключ интенсификации.

Разбередил душу Лобиков... Часто и в охотку рассуждается о разных климатических поясах и зонах рискованного земледелия. А почему бы и не порассуждать? Зоны и пояса и в самом деле разные. И земля разная. Ученый люд, помимо всего прочего, даже биологическую несовместимость в ней открыл. И растения, будучи живыми организмами, реагируют на климатические и почвенные разности по-разному. В смысле наращивания биомассы: одни получше, другие похуже. Посидишь так, порассуждаешь, и всегда найдешь причину, чтобы оправдать собственную глупость, нерадение выдать за неудачу.

Труд и жизнь крестьянская на глазах меняются. Село стоит не на обочине научно-технической революции. Но есть истины на все времена и для всех народов. Могущество человека и его власть над природой постоянно возрастают. Об этом красноречиво свидетельствуют и колоссальные масштабы хозяйственной деятельности. Ясько довелось пролетать на самолете над широкой поймой Ини. Заметил, как степная река все круче свивается в причудливые петли, раскидывает по сторонам мертвенно тихие степки стариц. Даже с высоты не окинешь глазом равнинное приволье, лишь кое-где взбугрившееся пологими холмами. Давно ли встречались на нем приметные участки с розовыми, сизыми и желтыми цветами, со стелющимися по ветру метелками ковыля. Теперь кругом поля и поля с черными мазками залежей и паров. Только в березовых, тоже редких, колках зеленеют поляны. Но и на них выпасается скот, грядятся стога сена. Глядишь на это, и к гордости хлебороба, честно исполняющего свои обязанности, при-

мешивается чувство щемящей человеческой горечи от утраты чего-то важного, нужного тебе и людям. Машина — продукт ума, а не эволюции. Чтобы удобно было ездить, мы научились одевать дороги в броню асфальта. А пашня? Она-то ничем и никем не защищена, лежит перед нами нагая, открытая, доступная. Но колеса тракторов, комбайнов, автомобилей и на ней отпечатываются незаживающими рубцами. Прав Лобиков: то, что истолчено в пыль, — уже не земля, ветер развевает пыль по оврагам, поляя вода смывает ее в ближайшую речку. Речь идет не о бережном отношении к земле, а о восстановлении ее подорванного плодородия. Главная заповедь хлебороба состоит в том, чтобы отец передал сыну пашню хоть немного, но получше той, которую сам получил от отца. Мы не собиратели, а сеятели. Это не красивая фраза, это жизненная позиция Лобикова, который на тощих суглинках хозяйствует.

Дома созвал Ясько жокаков полеводческих бригад. Не о заданиях поговорить. Сам уверовав, хотел он и их обратить в свою веру. Перед каждым положил шариковую ручку и чистый лист бумаги. Занялись расчетами. Наглядными они получились. Рабочий стаж многих полей в колхозе перевалил за 200 лет. Вышло так, что безвозвратно канула в далекое прошлое целинная молодость сибирских черноземов. И война минувшая нанесла пашне глубокие раны: пока мужики воевали, их женам и ребятишкам сил доставало только посеять да собрать то, что как-то выросло. О всяких мерах по восстановлению плодородия в ту пору думать забыли. Вредом обернулась традиционная вспашка. Но стоит ли в пустом углу искать виноватых? С них ничего уже не спросишь, с себя надо спрашивать. Степанов со своей бригадой два десятка лет возит перегной на поля, по 4 тонны на гектар. В округе все старые сельбища перекопал. Получает Степанов по 28 центнеров зерна вкруговую. В бригаде Бакина и по 20 центнеров не набралось. Потому не набралось, что возить органику на поля с опозданием хватились. Нечем похвастаться и бригаде Гольштейна.

— Что будем делать, мужики?

— Самим не осилить, — сказал Бакин. —

Надо подрядчика искать. С районной агрохимией договор заключить. Пусть помогут.

— Они помогут, — возразил Степанов. — Одну езду сделают, а к расчету две предъявят. Землю ж на землю сыпать будут. Не уловишь, чего нахимичат.

— А ты не соглашайся приписывать, — подсказал Гольштейн.

— Ты вроде вчера родился, — рассердился Степанов. — Они к нам привязанные, что ли? Заартачишься, разом свернут свою лавочку. Найдут клиентуру сговорчивей.

Вспорхнула жар-птица, оставив яркое перышко. Попривыкли только брать счетом побольше. Этому учимся сами, других учим. Ради этого и машин напридумывали, и хозяйственные связи отладили, и шефами обзавелись. А коснулось дело того, чтобы что-то вернуть, и начались спотыкачки. Брать готовы все разом, а вернуть согласны в порядке длинной живой очереди.

Так в чем же мера героизма Ивана Ивановича Ясько, сегодняшнего председателя «Ударника полей»? Как она видится?

Мы издавна ведем счет от нуля. После гражданской войны получили полностью разрушенное хозяйство, в Отечественную в освобожденные районы пришли на пепелища. Тяжелую промышленность заложили на пустом месте. Коллективизацию вытянули из ничего. Стоит ли удивляться, что в плоть и кровь вьелось почитание ретивых открытчиков, смелых добытчиков, бесстрашных целинников. Лавровые венки, ордена и цветы вручали тем, кто тайгу отодвинул и что-то построил, распал или распахал. Тот, кто на действующем предприятии мудрствовал, режимы технологии менял, оставался на втором плане, в тени. Все это проходило по разряду добросовестного выполнения служебных обязанностей. В этом случае не до наград, за это зарплату платили.

Но привычное не всегда верное. Непосвященному кажется, что, прибавив к одному гектару пашни второй гектар, мы вдвое увеличим производство зерна. Но целина осталась только за полярным кругом, где даже неприхотливая ива карликовой растет — ростом ниже грибов. Значит, выход у нас такой:

с одного гектара, обработанного по интенсивной технологии, хлеба получать больше, чем с двух гектаров.

Так кто же он, герой нашего времени?

Мы еще довольно смутно видим черты его лица, грани нового, только складывающегося характера. Но уже догадываемся, что искать его надо там, где не механически наращивают количество лошадиных сил в моторе, а заставляют каждую силу дать максимальную отдачу, где повышают урожайность поля.

Конечно, человек должен обладать известным мужеством, чтобы решиться перенести уборку хлеба на критический срок. Однако эпизод из биографии — это еще не биография. Да и не в этом суть. Преодолеть метровую высоту способен и нетренированный спортсмен. А если два метра? Если того выше?

Исполняя обязанности председателя колхоза, Ясько не все острые вопросы отодвигал на потом, до приезда Ковзикова. Многие сам решал, решал толково и оперативно. Иначе чего ради стали бы голосовать за его избрание механизаторы и доярки? Видимо, знали люди, что в школе Ковзикова он самый одаренный ученик. И райком его рекомендовал, руководствуясь не анкетными, а деловыми качествами, которые успели проявиться, заслуживали поддержки. И у первого секретаря обкома беседа носила не просветительский характер, говорили о задачах, которые поставлены перед селом. Эта истина особенно отчетливо прозвучала с трибуны XXVII съезда партии.

Приняв «Ударник полей», Ясько оказался перед высотой, считавшейся в области рекордной. А у этой высоты свои законы, свои меры героизма, на этой высоте каждый сантиметр дается с бою, требует огромных волевых усилий, напряженного, целенаправленного труда в течение многих лет.

Возит ведь бригада Бакина на поля органику. И бригада Гольштейна возит. На своих угодьях колхоз нашел богатые залежи торфа. Обзавелся техникой. За сезон берет до 30 тысяч тонн. Намерен брать 100 тысяч. То ли это поприще, где проявляются души высокие по-

рывы? Ведь речь идет о наращивании гумусного слоя? Грузи да вози. Так-то оно так, но и не совсем так. Добыча торфа, приготовление компостов не очень дается даже солидным производственным объединениям, с нуля начинается. Это во-первых. Есть существенное во-вторых. Те же люди на тех же землях дают нам все больше хлеба. А ведь во имя этой цели проводилась героическая целинная эпопея.

Поднялись Валеевы, подросли. Парни пожевились, девчата замуж вышли. Все — в колхозе, все его работники. Глава семьи награжден орденом «Знак Почета» и медалью ВДНХ, ударник коммунистического труда. Под его присмотром гурты молодняка отлично жирок нагуливают. А этот факт как оценить? Какими мерками измерить?

Годовой план по надоям молока колхоз выполнил 31 декабря, правда, в утреннюю дойку, то есть досрочно. Многие гораздо раньше управились. Прибавка в расчете на фуражную корову оказалась не особенно впечатляющей — около 40 килограммов. Тем более, что кое у кого за сотню килограммов добавилось. Значит, отстают наш передовик, на месте топчется? Давайте посмотрим. Надой на фуражную корову в «Ударнике полей» достиг 3340 килограммов. В среднем по Промышленновскому району мы имеем 2730, в среднем по области — 2510. На разной высоте сантиметры тоже имеют разную цену. Кстати, картофеля колхоз берет по 230 центнеров на круг. Это опять вдвое выше, чем в среднем по области. И, заметьте, дешевле, хотя потратиться пришлось: технику покупали новейшей модификации. Выгодили же вот на чем: на картофелеуборочных комбайнах серийного выпуска сидит по 11 отборщиков, а на этих, которые лишь опробываются, все успевает один делать.

Слов нет, колхозное благополучие миром ставится, миром поддерживается. Если зябь пахали Фотин, Сафонов, Кузнецов, то все там будет как надо: огрехов не ищи, сорнячки вчистую подрежут, стерню же оставят щеточкой, чтобы до весны снежок задерживала. Если на подборке и обмолоте валков Мозговой, Белоусов, Коркучеков, то жди с гектара

прибавку зерна, когда на центнер, когда побольше. Умеют они так агрегаты отладить, что колоска на поле не потеряют. Адуев, Лещев, Новиков вышли на пенсию. Но старая гвардия и отдыхает на свой манер, с артельных забот у нее день начинается, теми заботами и заканчивается. Ребяшня зимой — в школе, летом — в поле. Подросший мальчонка на мостик комбайна не из праздного любопытства, а отцовским помощником поднимается. Девчонки от коров в сторону не шарахаются: мама в отпуск, дочка на ферму. Им новые высоты брать, к этому надо загодя готовиться.

Не Иван Иванович Ясько разжигал костры коллективизации. Но он к зажженным кострам не проходящим гостем присел бока погреть, а добрую принес вязанку хвороста, чтобы огонь поддерживать. Пришел потому, что время позвало, позвало именно тогда,

когда земле потребовались не знахари, а лекари, способные наделить ее новой неизбывной силой. 15 лет возглавляет Ясько «Ударник полей». Он является членом бюро Прошленновского райкома партии, депутатом районного и сельского Советов, заместителем председателя межколхозного областного совета. Награжден орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета», медалями, грамотами, дипломами. Да разве только об этом знают и помнят люди. Знают и помнят они и о том, что резервный электромотор отвез Ясько в колхоз имени Ленина, чтобы в назначенный срок запустил Федирко свою оросительную систему. Плох уже был тогда Григорий Матвеевич, сильно прибаливал, мог ведь и не дожидаться долгожданного чуда, не увидеть, как над выбеленными зноем степными лугами взойдет радуга рукотворного дождя.

Юрий Кандыба

КОСМИЧЕСКИЙ ГОСТЬ

История эта произошла несколько лет назад и продолжается донныне. Хотя ее участники, наверно, успели позабыть о ней.

...Еще ощущая в себе дрожь трудяги Ан-24 и стараясь заглушить в памяти космические гулы метеоритной экспедиции, еду на автобусе из порта в город. Сердце беспокойно стучит, словно в ожидании необычного. Начинается город — одним домом, двумя, десятками и сразу — бесчисленным многоэтажным светлых домов. Вместе с радостью приходит какой-то разлад. Оказывается, непростое и нелегкое это дело сегодня — восприятие действительности. Восемь часов назад я стоял на берегу Подкаменной Тунгуски, о которой дома думаешь как о крае света, и вот уже — большой и красивый город в асфальте, с современными зданиями и воздухом, тропутым пылью.

Я тесней прижимаю к себе рюкзак, чтобы убедиться в реальности происходящего. Нащупываю разобранное ружье, которое еще вчера накормило нас рябчиками; через ткань угадываю полевую сумку — в ней лежит компас, изъеденный репудином; там же дневник экспедиции. Рука упирается в мягкое — телогрейка, ковбойка, полог — вещи, потерявшие сейчас значение. А что это? Непонятным образом защемленная в пряжке клапана веточка даурской лиственницы. Сувенир Крайнего Севера.

Конечная остановка автобуса. Иду по знакомым улицам. Здравуюсь с домами, жадно ищу перемен, обновления... В городе я не был с лета, потому волнуюсь. Вот и мой дом. Родные рады моему возвращению — недолгая разлука сближает...

За лето люди набираются сил, укрепляют здоровье. Я не был исключением. И сейчас, после экспедиции, полон энергии, движения, и домашний уют с диванной беззаботностью не скоро еще доберется до меня. И первое, что подтвердило это, было прикосновение к делу, которым я был занят последнее время. Из ящика письменного стола достаю сиротливо лежащее письмо. То, что я узнаю из него, заставляет меня вскочить со стула и перечитать дважды. Товарищ из Новосибирска сообщал: «...твой метеорит (г. е. присланный мной.— Ю. К.) является вторым железокамненным метеоритом, найденным в Сибири. Первый — «Палласово Железо», обнаруженный в 1749 году под Красноярском». Вот это удача! Поймали мы все-таки журавля в небе!

Утверждаю: природа несправедливо скупой радуется человеческий глаз поразительной красотой процессов, происходящих при полете болидов. Кажется, она нарочно направляет пути метеоритов в самые отдаленные и глухие места на Земле. Без преувеличений скажу, что многие ученые, изучающие метеориты, ни разу не видели явление болида, хотя по долгу службы им, как говорится, сам бог велел. Во сто крат увеличивается от этого интерес к находке метеорита. Болид пролетел и неизвестно где упал. Если его находят, то это сенсация. Но, чтобы найти давно упавший метеорит, нужна случайность, ее отражение в другой, которая при всем при том может еще и раздваиваться. Невероятное везение, как известно, редко кого балует.

Установлено, что на нашу планету ежегод-

но выпадает десять тысяч тонн космической пыли и не менее тысячи отдельных метеоритов. Однако во всем мире в течение года находят только три-пять небесных камней. Найти хотя бы один метеорит — не счастье ли это?! Вот почему меня обрадовала весть о том, что я нашел, естественно с помощью друзей, редкий железокосменный метеорит на территории лашей области.

Совсем недавно я жил другими заботами, другая жизнь огорчала и радовала. Участие в соответствующих экспедициях познакомило меня с метеоритикой, и она своей необычностью заинтересовала, увлекла; вот и письмо оттуда, из новой жизни: «...твой метеорит...»

А теперь — предыстория. Однажды в «Кузнецком рабочем» появилась моя статья о Тунгусском метеорите. Через день после этого в нашей квартире раздался звонок. Открываю. Стоит незнакомый мужчина. То, что он сказал, не вязалось с его внешностью. Мятый плащ, небритое лицо. Настороженный взгляд воспаленных глаз. «Метеорит купишь?» — спрашивает пропитым голосом. «Как он к вам попал?» — «Э-э, нашел. С братаном и нашел. На Дальнем Востоке... Слышал? Жили мы там. Пошли с братаном по грибы, ну и нашли. Беря, земляк, за червонец».

Слово «метеорит» для меня уже тогда облагодавало магической силой. Я стал шарить по карманам, но вспомнил, что денег нет, и только семь рублей, отложенные женой на продукты, лежат в столе. Я помнил слова жены, что стол для меня все равно, что закрытый сейф, но разве тут устоишь... Подаю мужчине деньги и говорю: «Ему цена — семь рублей!» Он стоит и смотрит на меня как-то странно. Нахожу в кармане мелочь. «Вот еще... сорок одна копейка...» Мужчина ничего не сказал, взяв деньги и ушел. «Ну и ну!» — мотал я головой, удивляясь превратностям судьбы. — Чудеса да и только! Да, это, видимо, действительно осколок Сихотэ-Алинского метеорита, выпавшего железным дождем на Дальнем Востоке в 1947 году. Поверхность, цвет, вес, рваные изогнутые края... Мне приходилось видеть подобные образцы в Москве, в хранилище Комитета по метеоритам Академии наук.

Думая о мужчине, продавшем мне «небесный камень», вспомнил американского исследователя Аризонского метеоритного кратера Найниджер. Тот оказался половчее и побойчее — свою коллекцию из пятисот (!) метеоритов он продал английскому университету за двести тысяч долларов. Через час снова звонок раздался в квартире. Бегу открывать дверь. Женщина. Сердитая, недовольная. Я смотрю вопросительно то в ее глаза, то на ее узкие в красной помаде губы. Без приветствия она говорит: «У вас был мужчина. Это мой муж! Вы у него купили кусок железа!» Я, с трудом соглашаясь, медленно киваю. «Отдайте мне его обратно! Это наша семейная реликвия». — «Да, но ваш муж...» — «Мой муж готов все продать, лишь бы выпить!» — «Но это не простая вещь, она не может быть семейной реликвией. Это метеорит! Национальная гордость страны! Ему место...» — «Я лучше знаю, где его место! — она не дала мне договорить. — Отдайте! Иначе пожалуюсь в милицию!» Вот тут бы мне и сходить с ней в милицию, но вместо этого я иду, как оглушенный, в комнату... Она ждет и видит, как хозяин квартиры, зажмурившись, протягивает правую руку через порог. Она берет свою семейную реликвию и возмущенно отдает деньги. Чувствуется, что ей приспело доказать мужу свою правду.

Нельзя было рассчитывать, что эти люди когда-нибудь отдадут государству принадлежащий ему метеорит. По существу, они его похитили, украли. Вспомнилась кража трех метеоритов из Минералогического музея Горного института в Иркутске в двадцатых годах. Грабителей так и не нашли.

Почему же я тогда не уберег образец Сихотэ-Алинского метеорита? Трудно ответить. Очевидно, такие понятия, как метеоритика, любовь к ней, о которых я важно толковал, не были тогда всепоглощающей страстью. Она пришла позднее.

Началось это весной. Перед экспедицией я зашел по делам в Запсибгеологию. Надо было достать приборы для наших полевых работ. Комплексная метеоритная экспедиция, изучающая проблему Тунгусского метеорита,

была самостоятельной, работающей на общественных началах, и хотя она входила в Комиссию по метеоритам и космической пыли Сибирского отделения Академии наук, своих геофизических приборов для исследовательских работ не имела. Приходилось обращаться за помощью к геологам.

К своей досаде, я попал в обеденный перерыв, но, к своей радости, встретил Юрия Файнера, знакомого геолога. Наша встреча была похожа на встречу друзей после экспедиции. Я веселил Файнера былями метеоритики, анекдотическими предположениями о происхождении Тунгусского метеорита, рассказами о лихорадочном волнении людей, напавших на необъяснимый факт, о крушении одной и рождении другой гипотез. Он рассказывал о геологических исследованиях.

Мне с ним было легко — он не походил на человека, который все понимает в метеоритике и потому снисходительно относится к чужакам, которые ею занимаются. Неужели, говорил он, ни один метеорит не падал когда-либо на территорию Кемеровской области? Ведь если в прошлом поток метеоритов на Землю был большим, как утверждает метеоритика, то наш край уж наверняка испытал на себе эту бомбардировку. Да взять хотя бы метеорит «Петропавловский прииск». Слышал он о таком? По тому, как он ухватился за мой рукав, стало ясно, что я должен был рассказать ему все, что знал об этой находке.

В 1830 году в долине реки Базас (бассейн реки Мрас-Су) была открыта золотая россыпь. Весть об этом быстро облетела край, и вскоре на новый Петропавловский прииск стали прибывать старатели. Добирались они тайгой, горами, водой, терпя в пути лишения и великую пужду.

Россыпь оказалась богатой. «Золото ея, — писал Карл Риттер в своем знаменитом труде «Землеведение Азии», — было крупно и часто покрыто бурой окисью железа, вместе с золотом здесь попадалось самородное железо частицами различной величины». Рабочие-забойщики при проходке шурфов встречали железо, но убедившись, что это не золотые слитки, выбрасывали в отвал.

В один из июньских дней 1841 года подня-

ли на поверхность с глубины девять метров тяжелый железный кусок неправильно-округлой формы весом семь килограммов. Он лежал в нижнем слое золотоносного пласта, на самом плотике из крупнослоистого известняка. Горный инженер прииска А. Соколовский после осмотра заключил: великолепный музейный образец самородного железа. А вскоре с очередной оказией отправил «кусок железа» в Петербург с небольшой заметкой в «Горный журнал». Прииск не переставал удивляться: ну и почести оказаны простой железной каменюге! — везли в возке, обшитом металлом, в окружении дюжины казаков с шашками наголо.

А через полвека на месте прииска выросла деревня Базас, порастерявшая своих кормильцев. Только ученые не забыли о «железном куске» из далекой Горной Шории. В 1891 году геолог Юлий Симашко опубликовал в «Записках Минералогического общества» результаты проведенного химического анализа шорского «самородного железа». Оказалось, что оно имеет среднее октаэдрическое строение и содержит никеля 6,98 процента, что характерно только для метеоритов. Более точные анализы, проведенные в последние годы в Комитете по метеоритам Академии наук СССР, уточнили эту цифру: до 8,48 процента.

Долгое время метеорит «Петропавловский прииск» (так он стал именоваться в мировом каталоге метеоритов) украшал личную коллекцию небесных камней Симашко, в то время одну из наиболее полных в мире. Неугомимый собиратель метеоритов, он часто выезжал на места их падения, вел переписку с очевидцами, печатал свои сообщения в журналах. Сам он разыскал и описал многие русские метеориты. У него дома, на Васильевском острове в Петербурге, хранилась богатая коллекция космических пришельцев.

После смерти Симашко его вдова решила продать эту коллекцию. Охотников приобрести ее оказалось достаточно. В конце концов коллекция была куплена американской фирмой и попала не в русскую Академию наук, а в Чикагский естественно-исторический музей. Шорский метеорит, а точнее, его осколки, уплыли за границу, где и были вскоре перепроданы Лондонскому институту естествен-

ных наук. К счастью, главная масса метеорита «Петропавловский прииск» осталась в России, в Петербурге. Сейчас она хранится в минералогическом музее Ленинградского горного института под № 1863.

До сих пор неясен общий вес этого метеорита. А это не такой уж праздный вопрос. Учету подлежит каждый миллиграмм космического вещества... По-видимому, много еще осколков этого метеорита прячется в долине реки Базас.

Известно, что под давлением воздуха, и особенно в результате резких изменений режима давления, каменные или железные метеоритные тела обычно дробятся в атмосфере. Поэтому, как правило, падают группы метеоритов или даже метеоритные дожди, чем-то похожие на выпадение града. Падение одиночных метеоритов представляет большую редкость. Находки единичных небесных камней в большинстве случаев объясняются неполнотой сбора. Человек находит один метеорит и рад, и не подозревает, что где-то поблизости лежат десятки, сотни небесных собратьев. Примеры? Их больше чем достаточно. Вот свежий...

В январе 1983 года группе сельских труженников совхоза «Ленинский» Волгоградской области были вручены Почетные грамоты Комитета по метеоритам Академии наук СССР за помощь ученым в поиске метеорита «Царев». О его падении было известно еще шестьдесят лет назад. Удивительно, но факт — через пятьдесят лет механизатором совхоза был случайно обнаружен первый обломок метеорита. Ученые, гадавшие до этого, что же представляет собой небесный камень «Царев», который уже считался утерянным, получив обломок, организовали экспедицию. Они обратились к жителям села Царев с просьбой помочь им в поиске. Вскоре было найдено более сорока обломков метеорита, а в прошлом году еще четырнадцать. Сейчас вес найденных обломков достиг 1300 килограммов, что вывело «Царев» в чемпионы среди всех отечественных его собратьев.

В конце разговора я спросил Файнера, чем он сейчас занят. Спросил ради формы, совершенно не предполагая, что с этого вопро-

са мы начнем новый разговор, более для меня важный.

— Пишу отчет, — Юрий посмотрел на меня каким-то странным взглядом. — Понимаешь, — сказал он, — тебе, наверное, будет интересно почитать мою статью?

— Какую статью?

— О находке самородного железа в меловых осадках Западно-Сибирской низменности.

— Ну-ка, ну-ка... Какое самородное железо? — я смотрел на него во все глаза.

— Не знаю, есть ли здесь нужное для тебя, но... Бурили мы в 1960 году картировочные скважины под Мариинском, на полях деревни Федоровки. С глубины сто двадцать семь метров подняли в кернах песчаник с вкраплениями этого железа.

— Это единичная находка?

— В том-то и дело, что единичная, следовательно, случайная. У нас в свое время даже дебаты развернулись о природе находки. Партия гудела, дело доходило до ругани. Спорили: или это самородное железо образовалось за счет восстановления закисных и окисных соединений железа, или это результат обрыва, растирания и последующего оплавления металла коронки в процессе бурения. Моего коллегу Пивеня, который утверждал последнее, обозвали алхимиком, который самородное железо превратил в стружку от буровой коронки.

— А вдруг это метеоритное железо? — сказал я и испугался своего вопроса.

— Ты меня поражаешь... Тебе уже мерещатся метеориты...

— Это запрещенный прием, Юрий Борисович.

— Да брось ты... Неужели ты будешь отрицать, будто в природе не встречается самородное железо? То, что мы нашли, уверяю тебя, не метеорит. Спектральный анализ не показал никеля. Так... сотые доли. Баракло, а не никель! Химический анализ — вообще ни гу-гу. Рентгенометрический высветил альфамодификацию, феррит чистой воды.

— Все правильно... Так и должно быть. Но у вас, геологов, приборы и методики анализов построены на выделение земных минералов, а космическое вещество требует друго-

го подхода. Слушай... А что если я отошлю твое самородное железо в Сибирскую Комиссию по метеоритам, в Новосибирск? И в Комитет? Там, в столице, есть чудная женщина, Лидия Григорьевна Кваша — маг и волшебник в метеоритике. Ее методы анализов космического вещества на грани фантастики. Она космическую воду в метеорите «Старое Борискино» нашла.

— А ты уверен, что твой маг и волшебник сможет опровергнуть показания автоматов? Ну, если ты не треплешься, то... давай так и сделаем...

Файнер похлопал меня по плечу, и тут же исчезло напряжение, державшее меня последние минуты разговора. Юрий Борисович вынес из своего кабинета «Вестник Западно-Сибирского и Новосибирского геологических управлений» за март 1960 года и два образца породы с самородным железом. Я засомневался в успехе задуманного. Дернуло меня за язык уверить, что все будет хорошо! Но отступать было поздно. Утешало одно: попытка не пытка.

Вскоре две посылки полетели по своим адресам: одна в Новосибирск, другая — в Москву. Оставалось ждать.

...События приняли нешуточный оборот. Из Новосибирска сообщили, что присланный образец «очень необычный» — это признают все, кто с ним работал. Академик Владимир Соболев, глава сибирской метеоритики, лично рассматривал шлифы. И хотя ничего не писалось о самом «железе», стало ясно, что надо ждать чего-то необычного. Я сообщил об этом Файнеру, и он долго молчал, таращил на меня свои глаза, цокал языком и шумно вздыхал, как окольцованный бык. Невольным свидетелем нашего разговора оказался старший геофизик Владимир Турбин. Почесав щеку, он как бы для украшения разговора сказал спокойно, ненавязчиво, что в марининской тайге при бурении скважин на глубине двадцати метров были обнаружены минералы, встречающиеся в метеоритах. Ток ударил бы меня слабее, чем его слова. Отбиваясь от меня, Турбин просветлел лицом и сказал, что если я

готов поглотить архивную пыль, то мне надо поднять отчеты Западно-Сибирского геологического управления за 1958—1961 годы и найти результаты бурения в бассейне речки Кожухи. Я готов был глотать пыль! В этом деле все должно решить два фактора: фактор настойчивости и фактор времени. Настойчивость была, она копилась во мне, как перегретый пар в баке, но... не было времени. Моя непосредственная работа была обратным клапаном, который сглатывал пар в баке. Как я понимал тогда Файнера, который не может вырваться на Тунгуску, как близка стала извечная тема людей о выборе дороги в жизни! В общем, слаб я оказался на поверку и не довел дело до конца. Оказался в тунике, где было тихо, безмятежно и беспробудно... Но это я осознал позднее. А тогда с волнением читал новое письмо из Новосибирска. Всех, кто был причастен к исследованию самородного железа «Федоровка» (так о нем говорили), охватило нетерпение... Казалось, вот-вот будет сделано сенсационное открытие. От меня требовали срочно переслать в Комитет по метеоритам описание места и обстоятельств находки — без этого нельзя было дать заключение о природе переданного образца. Исследование продолжалось. Уже была подсечена та грань, которая отделяла в образце земные нормы от космических. В нем оказалось около трех процентов никеля. Но это же совсем близко от критерия космогенности «самородного железа»!.. Его стали называть метеоритом. «Метеорит этот пока считается условным,— сообщалось в письме.— В Комитете по метеоритам АН СССР есть еще два образца, похожих на этот: один найден в Ванаваре, на Подкаменной Тунгуске, другой — в Гренландии. Единого мнения о том, считать ли их метеоритами, пока нет. Исследования продолжаются...» И внизу, в самом конце письма, приписка: «...название метеориту дается по ближайшему пункту... не забудь о нем упомянуть». В ответном письме сообщают: «дерева Федоровка, Марининский район, Кемеровская область, РСФСР. Географические координаты такие-то. Находка: 1960 год». И в конце, перед приветом, мой вопрос, как крик: «Ну, что там?»

Переписка неожиданно оборвалась. И долго. Как будто ничего и не было. Так я и уехал в экспедицию на Тунгуску, не зная, чем все дело кончится.

...И вот я держу в руках последнее письмо в этой удивительной истории и читаю: «...тэой метеорит является вторым железокосмическим метеоритом, найденным в Сибири. Первым был «Палласово Железо», обнаруженным в 1749 году под Красноярском». Нет, это не просто бумажный листок с размашистым почерком друга — это последняя страничка не-написанной повести об охоте за журавлем в небе — железной птицей, свившей гнездо под Мариинском 135 миллионов лет назад и передававшей сейчас мне и Файнеру и всем людям планеты привет от дальних космических миров.

...После экспедиции радуют родные, близкие, друзья... Радуют любимые книги, письменный стол, который притягивал меня, как красноречивика верстак, с лежащей на нем буквой доски: он заботливо выдерживал ее долгие годы и теперь приготовился вдохнуть в нее жизнь. На моем столе лежит стопка чистой бумаги, набор ручек, давно начатая статья о метеоритах юга Сибири, припорошенная комматной пылью и порывшаяся от солнца. Надо было ее заканчивать.

До этого через районные газеты Кемеровской области и Алтайского края был проведен опрос населения с просьбой сообщить о когда-либо виденных болидах и найденных метеоритах в Новокузнецкий планетарий. На статьи-обращения: «Вы находили метеорит?» и «След падающей звезды» откликнулось очень много людей. Меня поразила поток писем: Неожиданно открылся большой мир, населенный интересными людьми, для которых ничего не чуждо.

Письма приходили из Кемерова и Мысков, Анжеро-Судженска и Междуреченска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Рубцовска, Бийска, Новокузнецка... да разве все перечислишь...

На Белово сообщали, что в окрестностях деревни Сартки лежат так называемые «камни у Голомырки». Люди пытались их

разбить кувалдой, но ничего у них не вышло. По рассказам стариков, эти камни очень давно упали с неба. Из деревни Осиновки Кемеровского района Михаил Иванов писал о падении в июне 1925 года в районе Андреевского сельсовета в полуктора километрах от р. Б. Промышленки метеорита. Это сообщение подтверждает Федор Зингер из поселка Андреевка; метеорит, о котором писал Иванов, действительно падал и был им найден в 1926 году. О своей находке он сообщил в Новосибирск, но ответа не дождался. Тогда он передал образец метеорита на химзавод в Кемерово. «Одна половина, — писал Зингер в планетарий, — вероятно, находится в Кемеровском краеведческом музее, а вторая часть лежит в тайге (в 4-х километрах от деревни Андреевка) на плитняке, который покраснел от горячего метеорита. На месте находки лежит много осколков — наберется целый кузов». От Василия Кондратьева, проживающего в Междуреченске, стали известны многие подробности о его находке в 1938 году Чебанковского метеорита, который метеоритоведы единогласно называют классическим железным метеоритом. Он был найден на золотом прииске в бассейне реки Малая Кондома.

Я и сам тайно мечтал отыскать небесный камень. Душу бередили стихи Гарсиа Лорки: «...Охотники небесные охотятся на планеты — на лебедей серебристых в водах молчанья и света...» По ночам синились в цветном фейерверке падающие звезды, кометы. Я совершал подвиги, отыскивая утерянные метеориты в образном мире, где больше красок, чем звуков. Однажды, проспавшись, я подумал, что конечной целью жизни каждого человека является стремление как можно полнее выразить себя. Для себя я считал такой целью находку своего метеорита. Отложив это на обязательное будущее, я принялся за статью, совершенно не подозревая, что скоро моя судьба пересечется с небесным камнем.

Наступила осень. Тучи проливались дождями, побрасывали снежком. Статья о метеоритах Горной Шории и Алтая писалась вечерами, после работы. Хорошо работалось под перестук дождевых капель по оконному стеклу. Статья требовала привязанности к себе,

и я ее в этом не обманывал. Через неделю она должна была меня обрадовать последней точкой. Но тут случилось то, что заставило меня отложить ее в сторону. Произошло неожиданное событие — подвалило счастье.

Зашел я как-то в Запсибгеологию, в техбиблиотеку, в поисках одного американского научного журнала с публикацией о геологии Аризонского метеоритного кратера. Работая над одной рукописью, я параллельно собирал материал для другой. Смутно нащупывалась идея о роли метеоритов в формировании земной коры в раннюю стадию ее развития. Журнал оказался на руках. Я уже было собрался уходить, но увидел за рабочим столиком М. Берковича.

Он пригласил меня к себе в редакцию многотиражки «Разведчик недр». Разговорились. Я видел в его глазах, в его позе требование от меня любых фактов, новостей о Тунгусском метеорите, экспедициях, о которых он читал в моей недавно вышедшей из печати книжке. Но ничем не мог я его порадовать. Шла черновая работа: обработка и осмысливание фактического материала. Намечено было развернуть поисковые работы вещества Тунгусского космического тела, иначе ТКТ. Замена названия «Тунгусский метеорит» на «ТКТ» говорило о многом. Метеоритом здесь, кажется, и не пахло. Никто из нас тогда не знал, что через десять лет исчезнет и «ТКТ», а появится — «Тунгусское явление», удобное, обтекаемое, ни к чему не обязывающее. Поиски вещества ТКТ намечалось проводить в 1969 году на обширной территории с непременно учетом площадной неравномерности фоновых выпадений космической пыли. Уже стало очевидным, что решение проблемы ТКТ через изучение физики взрыва, которому отдавали предпочтение, реально только в случае сочетания этих исследований с получением надежных данных о материальном составе взорвавшегося тела. Не успев закончить свою мысль, я заметил как Михаил стал морщиться и перебирать бумаги на столе.

— Слушай, старичок, копаешься, что-то ищешь... а вот у меня, в портфеле редакции, лежит заметка о находке в Алтайском крае каменного метеорита.

Говорит спокойно так, бесцветным голосом, и протягивает мне листок бумаги. Не верю своим глазам: «Марковский метеорит». Автор — И. Дручин.

«Весной 1967 года в районе с. Марковки Ключевского района Алтайского края местными жителями был найден необычный камень, который был передан в Ключевскую партию. По словам местных жителей, он был обнаружен на пашне вблизи юго-западной окраины села...»

Читаю и вижу, как трясется листок в руках. «...камень оказался метеоритом. Поверхность его покрыта окисной коркой, в составе которой преобладает железо. Один бок отколот. Сколки были отправлены в Центральную лабораторию. Спектральный анализ показал повышенное содержание никеля и кобальта. По этим данным можно отнести метеорит к классу каменных. На поверхности метеорита многочисленные углубления (так называемые регмаглипты), образованные сверлящим воздействием воздуха при прохождении через атмосферу. Вес метеорита 11,3 килограмма».

— Любопытная заметка, — с волнением сказал я. — Она ценна тем, что несет полезную научную информацию... Миша, я заберу ее у тебя?! Нет-нет, не думай, что она пропадет. Нужно хорошенько проверить, убедиться в подлинности метеорита. А вдруг это липа?

Я знал, что говорю что-то не то, зря ставлю под сомнение компетенцию главного геолога, каковым был Дручин; вот и фотография, приложенная к заметке, он держит оплавленный камень размером чуть меньше его головы.

— Понимаю, старичок. Бери, действуй! Ключевскую партию найдешь в поселке Елань.

Геологическая партия размещалась в деревянном строении барачного типа. Тесный полутемный коридор с нежилым запахом. Заглянул в один кабинет — пусто, в другой — за столами симпатичные девушки, на окнах цветы, кактусы, ласкают глаза микроскопы, стеллажи с образцами пород и минералов. Чисто, завидно, почти домашний уют. Навстречу мне двинулся высокий парень. Это был Дручин. Когда он узнал, что я разыскиваю его по поводу Марковского метеорита как представи-

тель Комиссии по метеоритам и космической пыли Сибирского отделения Академии наук СССР, он отступил на шаг, закинул назад голову и посмотрел на меня, как дальнотзорный человек, разглядывающий близкий текст газеты. Не найдя во мне сходства с ученым мужем, увлек меня за собой в курилку.

Лоб у Дручина широкий, волосы на голове густые, курчавые, глаза — темные, живые. Рост у нас одинаковый, комплекция да и возраст — вроде те же; может, это быстро помогло знакомству? Не знаю. По крайней мере, он почти сразу стал относиться ко мне по-дружески, хотя вначале и присматривался. Прояснился, стал улыбаться и вдруг решительно махнул рукой, точно разгадал какую-то загадку. Потом попросил меня подождать, пока утрясает дела, после чего пойдём на квартиру, где метеорит лежит, как в музее.

...Как только вошли в квартиру, Дручин сразу прошёл к письменному столу, взял в руки коричневый камень и подал его мне. Я подхватил метеорит, и в меня сразу же вошло ощущение его веса. Я вертел его в руках, гладил пальцами, и воображение охотно помогало видеть небесный камень летящим через безмолвную черноту космоса, слепое свирепое пространство планетных миров. Я впитывал в себя полужемные-полукосмические краски — цвет черной, тонкой стекловидной корочки, кое-где матовой, а где и блестящей, цвет металлических блесков, серебристых вкраплений на волнистой плоскости скола, ощущал тяжесть камня и узнавал нечто важное для себя. Дручин о чем-то говорил, но я его почти не слышал — не каждый день видишь космического гостя!.. Хорошо, если раз в жизни выпадет такое счастье. Я смотрел на метеорит и думал: в нем замерла стремительность космической скорости, власть гравитации, дуновение солнечного ветра...

— Могу добавить несколько слов, — слышал я наконец голос Дручина. — В 1967 году наша партия раскинула палаточный го-

родок на окраине села Марковка, рядом с озером Каскуль. В конце мая в лагерь пришел местный учитель, пенсионер, и передал этот камень. В наших местах таких я не видел, говорит. При весенней вспашке камень был вывернут случайно плугом из почвы с глубины сантиметров тридцать. Тракторист разбил кувалдой камень и подарил потом часть осколков ребятишкам для забавы. Искрились камушки. Оно и понятно — пацанам радость... Жаль утерянных осколков!

В тот вечер я долго не мог уснуть. Нет-нет да и встану с постели, зажгу свет и, как замороженный, смотрю на небесный камень... Снова ложусь, думаю и никак не могу поймать ускользающую мысль, которая объяснила бы мне, какими же стечениями обстоятельств была подготовлена моя встреча сначала с Берковичем, потом с Дручным? Как произошло, что ничего не подозревающий о существовании Марковского метеорита утром, к вечеру я стал его обладателем и посредником первооткрывателей и ученых? Может, незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или иные случайности, и вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой человеческие жизни? Но всю цепь было трудно проследить — я никак не мог ухватить и распутать начальные нити, чтобы нащупать отправной момент, послуживший как бы спусковым крючком. Откуда начался мой долгий путь поступков, который не вчера, не завтра, а именно сегодня сблизил совершенно чужих людей и заставил их действовать совместно? От случайности к случайности. Честное слово, в такой жизни весело жить!

...Марковский метеорит я передал в надежные руки. И теперь, когда он появился в минералогических музеях Новосибирска и Москвы среди других метеоритов, никому из старых или молодых не пришлось сторониться — он занял свое единственное место,

В. Мазаев

ТУРЦИЯ ВБЛИЗИ

1

К югу от Анкары разбросала свои проклятые солнцем пространства Конийская равнина. Ослепительно белая лента бетонки вдали, у горизонта, рвется на куски, а то и вовсе парит в жарком воздухе, создавая слабый эффект миража. Наш ярко-красный автобус, трепеща, как крылышками, вырвавшимся занавесками, мчит вдогонку за миражом.

Симпатичный автобус этот — собственность нашего шофера, молодого, но уже грузноватого, как и подобает хозяину, владельцу такой «солидной» подвижности, парня. Зовут его Кахраман. Фирма, организовавшая поездку по Турции группы советских писателей, арендовала его вместе с автобусом. Он доволен, потому что работа интересна и хорошо оплачивается.

Он впервые везет русских. Когда мы обращаемся к нему или просто встречаемся взглядами, он отвечает нам великолепной белозубой улыбкой. Круглый ершик волос и коротко подстриженные усы придают ему сходство с портретами молодого Хикмета (впрочем, ради справедливости стоит сказать, что такие усы носит, наверное, каждый третий турок). Но с Хикметом наш Кахраман незнаком, читает только периодику. В последнем мы убедились сами. Из-под чехла его кресла всегда торчат пучки свежих газет, которыми он охотно делится с нами.

Ветровое стекло автобуса щедро увешано всяческими штучками: блестящими камушками в виде голубого глаза на ремешке, стилизованными фигурками зверьков, золотыми подковами. Это амулеты, целый арсенал. Колышущаяся завеса привела бы в трепет любого нашего автоинспектора. Но Кахраману

они не мешают. Напротив, они оберегают машину от разных напастей, причем довольно эффективно. Иначе — чем объяснить, что наездив по кривым и узким турецким улицам двести с чем-то тысяч, он так ни разу и не стукнулся, не схлопотал дырки в правах.

Амулеты и всяческого рода «обережи», если уж о них зашла речь, — обязательная деталь не только автомобилей. Я видел «голубой глаз» на груди девушек-медсестер, в сбруе извозчицких лошадей, в лентах детских качалок, даже на клетках канареек, непременных принадлежностях любого турецкого музея.

За окнами пролетает кирпично-бурая просушенная солнцем земля, щебенистые, в куртинах кустарников холмы, пестрые лоскуты крестьянских полей. Поля эти каменисты и непостижимо древни. Здесь еще за три тысячи лет до Киевской Руси возникло Хеттское рабовладельческое государство. Вырытые плугом камни крестьяне складывают вдоль межи. За время многих поколений каждая деляна стеной отгородила земледельца от соседа. Поля эти с кривыми каменными стенами — точно развалины старинных поселений, бесконечные и удручающие.

А вот и сам землепашец. Он медленно и все время как бы отступаясь, идет за сохой, которую тянет пара волов. Ветер рвет из-под копыт красную пыль. Он потрясюще реален, этот землепашец, голова его повязана куском выгоревшей ткани, а на ногах сыромятные лапти. Я впервые вижу деревянную соху (по турецки — карасапан), ее тяжелый, неуклюжий ход и сгорбленного над ней человека.

Позже я увидел и многое другое: арбу с колесами в виде деревянных сплошных дисков, словно скатившуюся со страниц древней

истории, ручной сев пшеницы, ручную примитивную мельницу — камень с дыркой, положенный на другой камень. Но почему-то впечатление от сохи и сторбленного пахаря, моего современника, оставалось самым живым и стойким среди всех «сельских» впечатлений Турции.

И ведь по одиночку-неудачника встретили мы, — пятьдесят процентов, половина всей пашни страны, обрабатывается карасапаном, орудием, изобретенным фригийцами четыре тысячи лет назад.

Да и вообще судьба древней анатолийской земли (Анатолией зовется азиатская часть Турции) — драма, вытянутая в тысячелетие. Здесь впервые землепашец бросил в землю некоторые из злаков, культивируемые человечеством и поныне. Он же, в благодарность за это, пополнял рабскую силу на галерах царя Кира и в рудниках Рима и Греции. Багровая пыль набегов веками висела в этом выжженном небе. Полчища Македонского и крестоносцев, орды сельджуков и монголов, словно склопняком, мотало по Малоазиатскому полуострову. Землепашец, если успевал, убегал в горы, потом возвращался, втыкал своей бессмертной карасапан в землю и начинал все сначала.

Потом возникла Османская империя, и землепашец почти на пять столетий (до Кемалистской революции 1923 года) попал в цепкие руки султанов. Феодализм накрепко придавил крестьянина к земле, и тут уж убегать было некуда.

Сейчас двое из трех крестьян, обрабатывающих землю, не хозяева ее. Они пользуются землей на правах аренды, так называемой издольщины. В этом последнем — ответ на сам собой возникающий вопрос: почему так живуч карасапан. Крестьянин-издольщик не заинтересован ни в применении техники, ни в повышении урожайности, так как половину урожая (иногда больше) он отдает хозяину земли — помещику...

Чувствую: мой рассказ начинает приобретать интонации школьного учебника по истории средних веков. Но что делать, если история в турецком селе остановилась именно на этом времени. Правда, не для всех. Увидев

соху, батрака при ней, мы логично захотели повидать живого помещика, но нам не повезло. Турецкие помещики теперь живут в городах, в квартирах с кондиционированным воздухом и общаются с селянином лишь в моменты арендных расчетов.

2

Мы проехали по Конийской равнине несколько сот километров — и ни одного моста, даже мосточка, не прогрохотало под нашими колесами: здесь нет рек.

Где-то на полпути, слева от дороги, засветилось белесо-голубое море. Вскоре сквозь него проступила беспредельная гладь воды — озеро Туз. Мы попросили Кахрамана на минуту остановиться. Гигантские трещины, точно змеи, усеяли белый от соли плоский берег, подползли к воде. Никаких признаков жизни — ни птицы, ни цикады, ни рыбьего всплеска. Марсианский пейзаж, тысячелетиями копившаяся тишина. Только ветер, гонящий соленую пыль, шуршит и посвистывает в дудках тростника. По своей площади озеро Туз больше раз в семь нашего Телецкого, но всю эту гигантскую водную пустыню можно, говорят, пройти вброд в любом направлении — так она неправдоподобно мелка. А концентрация соли здесь выше, чем в знаменитом Мертвом море.

Да, здесь нет рек, не течет, радуя глаз, вода, и большую часть года над головой сухое жаркое небо. Однако поля центральной Анатолии довольно плодородны, многие культуры дают два урожая в год. Весь секрет — в изобилии здесь грунтовых вод. Колодцы, колодцы, родники — бетонированные, выложенные ноздреватым туфом еще во времена царя Гороха, каменные лотки, корыта, с насмерть вытопанной скотом землей вокруг — здесь средоточие жизни, кропотливой и стоической.

Конийские деревушки — это десятка два-четыре жилищ из того же желтого туфа, с плоскими крышами. Ни труб, ни окошек. Окна крохотные и обращены только во двор, печей же тут не знают, зимой обогревает мангал — железная чашка с угольями. Саманные глухие

дувалы обложены поверху верблюжьей колючкой — попробуй сунься! И все это сгрудилось, сжалось, издали напоминает горстку скорлупы, и из горстки торчит этакий гвоздик — минарет мечети.

Скученность посреди степи — тоже жестокий след истории. Когда-то, в пору набегов, деревушки огораживались стеной. Теперь стены разрушились, и дворы так и остались прижатыми друг к другу. А в новых жилищах, кажется, нужды нет, каселение здесь не растет. Во многих поселениях не встретишь жителя старше сорока. Объяснение, которое мы получили, удручающе просто: дольше тут не живут.

Не менее впечатлительны рядом с деревушками мусульманские кладбища — тесный частокол торчмя врытых плит, по занимаемой площади больше самой деревни. На одной из покосившихся плит выбита надпись. Просим гида перевести. Он с трудом переводит: «Каждая душа должна вкусить смерть». Торжественно-мистическое изречение словно произошло из этой тысячелетней земли.

3

История и торговля — два фактора, накладывающие свою характерную печать на физиономию турецких городов.

Возраст их здесь измеряется десятками веков, такими эпохами и периодами, что воображения не хватает. Строились города непременно вокруг крепости, а крепость ставилась обязательно на горе, которая повыше да покруче, куда не подкатишь таран.

В моде были грабительские набеги, и жители предпочитали селиться как можно ближе к крепости, чтобы успеть укрыться за ее бастионами. Непонятно только, как они успевали убегать по кривулинам этого тесного, вздыбленного жилищного хаоса. А может, они просто убегали по крышам? Кажется, это гораздо удобнее...

Сегодня крепостные бастионы, утратив актуальность, превратились в живописные развалины, а города, облепившие их, продолжают жить — без транспорта и канализации, часто с глиняным еще водопроводом (в го-

роде Пергаме — свинцовый, эпохи эллинизма), с постоянной угрозой массового пожара.

Однажды, ранним утром, я вышел на старые улочки Стамбула. Посреди булыжных мостовых то там, то тут в каком-то таинственном беспорядке дымились костерки. Ковыряясь в них, сидели на корточках фигуры. Мне показалось, что я нечаянно попал на какой-то древний и загадочный ритуал. Эти безмолвные в молитвенных позах фигуры, эта сказочная вуаль дымков в первых косых лучах солнца — было от чего оторопеть. А всего-то на всего — сжигался накопившийся за сутки мусор...

Часов в шесть утра застучали тележки развозчиков питьевой воды, раздались их монотонные голоса, похожие на крик ночной птицы. С чашками и бидонами, с ведерками в руках выходили женщины, выбегали всклокоченные со сна черноголовые мальчишки. Молча подставляли под стеклянную бутылку посудину, так же молча бросали прямо в широкий карман разносчика мелочь, бережно уносили воду. Это тоже походило на обряд, и почему-то думалось, что в таких суровых обрядах остановилось время.

Какой-нибудь предприимчивый режиссер мог бы на этих улочках снимать фильм из любой эпохи, благо менять ничего не нужно. Разве что у той вон симпатичной турчаночки отнять полиэтиленовый бидончик и вручить медный кувшин да не направлять объектив в небо, перечеркнутое только что пророкотавшим самолетом.

4

Бережно, почти благоговейно относятся турки к воде — не только потому, что ее мало и она стоит денег. Такое же уважительное отношение к воде мы видели и в районах, где вода в достатке. Это вроде национальной черты.

Чистую родниковую воду в маленьких изящных бутылочках можно купить в любой лавчонке, в любом фешенебельном ресторане. Плеснуть на землю горсть воды вслед уезжающему гостю — знак высокого к нему уважения.

Религиозно настроенный состоятельный турок мог умиловать всевышнего и заслужить почитание смертных двумя равноценными благодеяниями: построить мечеть или вырыть колодец с фонтанчиками для питья и омовения. Такие фонтанирующие колодцы с именем строителя — неременная деталь базарных площадей. Меценатствующий турок знал, где надежнее увековечить себя.

Однако бережливое отношение к воде часто в глазах приезжего оборачивается элементарной скупостью. Плоские ванны в отелях, в которых нам пришлось жить, похожи на фотографическую катушку, только несколько больших размеров. Усестись в нее человеку выше средней упитанности весьма проблематично.

От времен Османской империи не осталось архитектурных памятников. Разве что несколько мечетей да грубо и как бы наспех поставленных дворцов. Султанам некогда было строить и перестраивать: они то воевали, то жили.

В султанском дворце Топкапы, превращенном ныне в музей, показывают нишу-беседку, из окна которой султан любовался купающимися в бассейне наложницами. В нишу разрешается зайти и посидеть. Я тоже зашел и сел на султанское место. Бассейн, разумеется, был пуст, и добрая треть его закрывалась неуклюже выступающим карнизом, отчего султан должен был чувствовать себя на треть обделенным. За все существование Османской династии было 25 султанов, и ни одному из них не пришлось в голову исправить ошибку архитектора! Со мной согласятся (по крайней мере мужчины), что более вопиющего консерватизма представить нельзя...

Все, что было построено ранее, в античную и эллинистическую эпохи, греками, римлянами — разрушено позже войнами, землетрясениями, которые периодически трясут бедный полуостров, рассыпано по земле неумолимой рукой времени. Некоторые развалины, такие, как храм Артемиды Эфесской, один из семи чудес света, сожженный в свое время честолюбивым Геростратом, приносят доход: их показывают за деньги.

Многочисленные руины, вся эта «ионика» и «дорика», этот щебень истории, преследуют

вас везде: в городах и пустынных нагорьях юга, среди безграничных плантаций опийного мака, становятся таким же неременным атрибутом пейзажа, как выжженное небо или лагуны омывающих страну морей.

Среди голого поля, прямо из пахотной земли, вознесется вдруг прекрасная мраморная колонна с куском расписного карниза на макушке. Она — как взывающая рука погребенной цивилизации. Или в стене бедняцкой хибары у дороги мелькнет плита-барельеф, украшавшая, может быть, постройки времен царя Креза.

5

Торговля — вторая религия турок. Центром города здесь считается не дом губернатора, не административный квартал, а базарная площадь.

Впервые приобщился я к восточному базару в старинном городе Конья. Выйдя из отеля, в котором мы только что разместились, и бесцельно свернув за угол, я сразу и как-то вдруг попал в мир Востока: прямо за углом начинались базарные галереи.

Было такое ощущение, что я уже бывал здесь, но очень давно, в раннем детстве. Смутно знакомые детали, знакомые одежды и лица (что делать, знания притупляют впечатления новизны, сердце не выпрыгивает от неожиданности увиденного — голова охлаждает: об этом я читал, это видел в кино, это показывали по телевизору). Только я почему-то с тех пор забыл эти ошеломляющие цвета, краски, шелестящий гул толпы — и особенно эти яростные всплески запахов, уже через полчаса приведшие меня, северянина, к состоянию легкого обалдения.

Срединная часть базара — каменные крытые стеклом галереи. Они бесконечно пересекают друг друга и не всегда под прямым углом. Главные лавки — в нишах галерей: так сказать, местная торговая аристократия. Большинство товаров здесь импортного происхождения. Даже на мотках мохеровых ниток, изготовленных из шерсти местных ангорских коз, этикетки французских фирм.

Однако не тут, в этих выложенных и тихих

магазинчиках, душа базара. Обрываются галереи, и вы попадаете в улочки, составленные из лавок, лавочек, прилавков самой живописной формы и самого немислимого содержания. Они коробятся, теснят друг друга и стеной дружно стремятся ближе к покупателю, отчего бедному покупателю уже, кажется, податься некуда.

Но «торговому сектору» все мало. Продавец старинной керамики лихо разложил свой хрупкий товар на мостовой; как у нас говорят — на проезжей части. Другой высунул из витрины прямо на головы прохожим шест в виде шлагбаума, завесив его хоругвью из блестящих поясков, цепочек, чего-то похожего на витые шнуры аксельбантов — проходи и нагибайся, кланяйся! Третьему и вовсе не сидится: это торговец мелкой фурнитурой. Он бродит, обвешанный своим ослепляющим, звенящим товаром, словно елочным дождем, и похож на Али-Бабу, который только что удачно выбрался из разбойничьей пещеры.

Послевоенные наши толкучие рынки с их суровой нуждой и мелкой плутоватостью навсегда, кажется, поселили во мне настороженность ко всяким толчкам и барахолкам. И теперь еще при входе на рынок мне инстинктивно хочется придержать карман...

На базаре в далекой Конье мой карман был, слава богу, пуст. Но все равно я нырнул в его чрево не без внутреннего трепета — черт знает, ведь Восток! Может, тут без денег нельзя, а может, им просто моя физиономия не поглянется, что с них возьмешь — фанатики, иноязыкое племя. А два турецких слова йок и тэшека (нет и спасибо), которые я знал к этому моменту, вряд ли смогли бы облегчить взаимопонимание...

Но уже вскоре мое внутреннее напряжение спало: абсолютно никто не обращал внимания на иноземца. Больше того, никто никого не хватал за полу, не тасил к товару, бия себя в грудь. Кричали только зазывалы. Чаше это были мальчишки. Стоя у прилавка, а то и прямо на прилавке, они время от времени выкрикивали что-то в текущую мимо толпу. А уса-тый хозяин сидел тут же и пил чай из похожего на медицинскую банку пузатого стаканчика.

Позже в этом вселенском бедламе я начал угадывать систему. А именно: каждая улочка была строго специализирована. Вдруг вы попадаете туда, где сплошь обувь. Обувь залепила стены, дыбится на выносных щитах, связками свисает с потолка. Поражает не вал, а ассортимент. Вот слепят глаза серебряные башмаки-бабуши с острыми носками, а тут обувь кожаная, деревянная, сафьяновая. Тщетно будете вы искать две пары одинакового фасона или две одинаковые шали (в одежном ряду). Их нету. То есть, нету на прилавке. Если у торговца сто фасонов — показаны все сто, даже если ему самому из-за этого придется сидеть на тротуаре. Если пятьдесят разных шалей — все пятьдесят перед вашим взором. В этих лавках, как на подводной лодке, в деле каждый сантиметр пространства.

6

Посудные ряды — царство расписного стекла, фарфора, меди, фаянса. Огромные сверкающие свинцовой глазурью блюда, штабеля подносов, тонкогорлые кувшины, стаи сервизов, кофейники-джизве, вазы, вазочки, змеиноголовые кальяны (медные сосуды для курения).

У торговцев коврами — тишина. Ковры тяжело свисают со стен, с перекладин. Редкий покупатель бродит, как в лабиринте. Здесь, в сумраке, краски переливаются, словно люменисцируют. Ковры со всей Турции — курдские, смирские, испартовские; ковры-килимы (без ворса), паласы, кошмы, циновки. Эти последние лежат скрученные, целыми поленицами — несерьезный товар.

Я вспомнил наше посещение знаменитой ковровой мастерской в городе Испарте. В длинном просторном доме за деревянными станками сидели несколько десятков мужчин. Свисали огромные, как футбольные мячи, клубки ниток. Монотонно стучали ткацкие гребни. Мы обратили внимание, что все мужчины одеты как-то серо и однообразно и все наголо подстрижены. Нам неохотно объяснили, что это заключенные (хотя не было как

будто видно ни охраны, ни колючей проволоки). Бедственное положение местных ковровщиков, задавленных скупищиками и машинным производством, заставляет их бросать станок и уходить на лето в батраки. Не желая терять признанную статью экспорта, власти прибегают к принудительному труду заключенных.

От жаровни на колосах тянет терпким духом поджаренного лука — острого гороха, кипят в соленой воде каштаны. Мальчишка-турчонок ловко сдергивает с раскаленного противня лепешку величиной с гайку лист, бросает на поднос — так что меня опахивает сдобным ветерком. В стеклянних ящиках вяло крутятся на шампурах индейки. Капли жира, падая, вспыхивают при свете дня, как синие искры. Мини-шашлыки на тоненьких тростниковых палочках ностальгично благоухают специями.

Под толстой чинарой с белесой от старости корой сидят то ли крестьяне, то ли кочевники. Лица их, темные от солнца, будто вырублены из старой кости. Они неторопливо обедают, едят свое, домашнее, что-то похожее на вареную пшеницу. Ослик с деревянным седлом, оскалив зубы, пытается куснуть ствол чинары. Но кора ее настолько уже обкусана поколениями его предшественников, что становится жалко голодного ослика.

Лениво и независимо бродят кошки, на них стараются не наступать. Кошки на базаре пользуются правом экстерриториальности. Они заслужили это почетное право в жестокой борьбе с крысами.

От фруктовых рядов, укрытых от солнца балдахинами, сладко несет запахом кишмиша и расколотых дынь. Отяжелевшие от дармового взятка пчелы не в силах взлететь, зло гудят, пешком взбираясь вверх по столбам, по балдахину. Оттуда падают, как десантники, и грузно летят прочь.

Связки живых фазанов копошатся в пыли, раскрыв клювы. Привязанные за ноги — и тоже живые! — висят, вывернув шею, куры, не мигая смотрят на этот оголтелый человеческий мир.

И все это блестит, переливается, пахнет, манит к себе, теснится под ноги, все кричит благим матом: купите!

Лавки ювелиров — средоточие стекла, зеркал и электрического света. Кольца, перстни будто рассыпаны по воздуху: где отражение, где реальность — сразу не разберешь. Связками, на манер баранок, колышутся золотые (или под золото) тонкие запястья, дутые браслеты, стекают ручки ожерелий. Царственно, отдельно от всей этой мишуры, возлежат на черном бархате диадемы, дожидаясь головки какой-нибудь новоявленной Нефертити. Владелец этого сверкающе-завлекающего заведения скромно сидит в углу — эдакий золоченый паучок!

Торгуются тут без излишних жестов и возгласов, но самозабвенно. И та и другая сторона чаще разговаривают тихо, даже проникновенно, будто выражают друг другу соболезнование. Если они не знают языка друг друга (а большинство покупателей ювелирных изделий иностранцы), тут-то начинается пантомима!

Выбрав товар (скажем, кольцо), покупатель берет бумагу (бумага и карандаш всегда на прилавке) и пишет цифру, к примеру, 100. Цена явно занижена. Паучок со скорбной миной зачеркивает 100 и рядом ставит 200 — цена явно завышена. Карандаш снова переходит к покупателю. Он зачеркивает 200 и пишет 105. Ювелир в свою очередь поправляет 105 на 185. Так они постепенно «сближаются», только глубже и яростней врезается в бумагу карандаш. Наконец ювелир ставит 160. Попытка покупателя снова сбить цену пресекается — посредством отбирания бумаги и карандаша. Все, баста, 160 лир, и ни куруша меньше! Паучок при этом молча воздевает руки к небу, что на международном языке жестов означает: боже, я и так отдаю даром! Тут уж одно из двух — или бери, или уматывай.

А вообще-то терпеливость анатолийского торговца и его внимание к покупателю беспредельны. В городе Бурса я видел, как одна пожилая чопорная пара выбирала себе зонтик. Подходящий, однако, никак не попадался. Чехлы слетали с зонтов, точно кожура с бананов. Пара ушла, оголив все стенды, но так и не сделала покупки. Продавец, прово-

жая ее до двери, был расстроен, но не учиненным разгромом, а тем, что не угодил этим привередам. Кажется, он просил зайти их еще...

Поздно вечером я шел по центральной улице турецкой столицы — Анкаре, по проспекту Ататюрка. Магазины были уже закрыты, темны, только витрины слабо отражали уличный свет. Я остановился перед одной из витрин, вглядываясь, — как она вдруг вспыхнула неонов, осветив выставленные в ней товары. Я отошел и оглянулся — свет так же загадочно погас. Тогда я вернулся, уже из любопытства, — витрина зажглась. Я снова отошел — снова погасла. Вернуться в третий раз я не осмелился: не был твердо уверен, что это работает фотоэлемент...

8

Вся экзотика, однако, весь колорит турецкого базара не тут, где торгуют мирскими товарами. За шумным торжищем начинаются переулки и тупички, свободные от ширпотребовской суеты.

Вот они — таинственные пещеры мамонтов-антикваров: нумизматов, оружейников, хранителей ископаемой рухляди. Мир, в котором о практической ценности вещи говорить просто неприлично. Здесь если и витает дух наживы, то столь деликатно, что его как бы и нет. Впрочем, возможно, это вывод дилетанта. Побывавший в этих же оружейных лавках мой коллега по группе писатель-историк С. П. Бородин (автор известных книг «Дмитрий Донской», «Звезды над Самаркандом» и др., ныне покойный) утверждал, что половина пистолетов — искусная подделка.

Наверное, так оно и есть, потому что пистолетов — кремневых, инкрустированных костью и камнями — масса. Стены, которыми они увешаны, напоминают рыбы косяки, идущие на нерест. Охупками лежат сабли, ятаганы, античные мечи, рыцарские кинжалы-спицы.

А вот в пластиковом ящике на полу — и совсем уж хлам: револьверы системы «наган», которыми были вооружены белогвардейские офицеры. «Благородная» ржавчина сыплется с них, как штукатурка. Какие непо-

стижимые пути проделали эти некогда опасные железки, чтобы очутиться здесь, в глубине Анатолии, в этом тарном ящике?

Издали слышен мелодичный перезвон наковален, запах угля и металла — начинаются владения мастеровых. Это задворки базара, его пролетарская окраина. Здесь прямо на ваших глазах куют, лудят, чинят, все завалено изделиями из железа, меди, цинка и напоминает двор затоварившейся базы.

Вижу, как в темной глубине мастерской льют в земляную форму металл; литейщик, черный то ли от природы, то ли от окалины, бегаёт между горном и формами, пиная коленями жесткий фарук. У дверей сидит мальчишка лет одиннадцати, на ногах деревянные сандалии; ожесточенно, будто лампу Аладина, драит песком медную, только что остуженную посудину.

Надо сказать, многие ремесла, которыми славится Турция, сейчас сворачиваются. Они не выдерживают жестокой конкурентной борьбы с изделиями Запада, хлынувшими на внутренний рынок страны в последние годы. Не об этом ли факте говорят прокопченные улочки, заставленные изделиями мастеров, но совершенно лишенные покупателей...

9

Было это в первый еще день. Проснулся я, как от холодного прикосновения, — от странного протяжного звука. Несколько мгновений соображал: что это? В номере еще сумрачно, таинственным зеленоватым светом фосфоресцировал выключатель. Ага, вроде поют. Хорошо поставленный мужской голос издали и в то же время будто над головой тянул долгую бесконечную фразу: «О-о-о-э!»

Что за мистика? Нас поселили на верхнем этаже отеля, выше никого нет, разве что Карлсон, который, как известно, живет на крыше...

Встаю, подхожу к раскрытому окну. Над черным сухим изломом крыш с частоколом антенн вознеслась тонкая сигара минарета. Четко рисовались на светлеющем небе висящие, как груши, радиоусилители. И оттуда, точно с неба, на спящий еще город катилось бесконечное «о-о-о-э!..»

Все сразу стало на место: мы в мусульманской стране, и это предугианное завывание — призыв муллы ко всеобщей молитве...

Что-то нелестное, «нелестное» было в этом микрофонном голосе, даже слегка разочаровывало. Но видно, чтобы где-то зажглось окно, обнаружилось движение, ответная реакция, что ли. Ну да, это как наша зарядка по радио, подумал я с усмешкой, всю жизнь шучит, но хоть увидеть бы — кто под ней серьезно занимается...

В следующие дни в поездках по Анкаре, с которой началось наше знакомство со страной, я побывал в мечетях, на службах, увидел много для себя неожиданного — микрофон на трибуне проповедника, сигнальные огни (для авиации) на минаретах, неон в чашках древних светильников. Словом, все из современной техники, что стало насущной необходимостью даже для несильных слуг Мухаммеда. И я, являясь уверенным в первоначальном выводе: да, это игра или ставшая обременительной привычка.

В салоне пассажирского лайнера, недалеко от нас, молодой мужчина в грубом хитоне монаха, в руке — фужер с вином. Почему бы не надеть в людном светский костюм — легко, удобно, а главное, не играть роль вороны, на которую невольно оглядываются. Строгость монашеского устава? Но вот же от вина он не отказался, не говоря уже об авиации (вино вложено в меню, а значит оплачено с билетом). Конечно, думал я, одесит — поза, та же нелестность, что и в молитвах по радио.

Проехав по анатолийским дорогам Турции более двух тысяч километров, столкнувшись лицом в лицо с глубиной страны, я почувствовал, как стала давать трещину моя уже стройно сложившаяся версия.

Стереотип школьных знаний — плохой помощник в путешествиях по чужим краям. Я не увидел того, что должен был увидеть: открытого фанатизма, пышно-торжественных обрядов, религиозной назлектризованности толпы. А раз всего этого нету, то вроде и веры настоящей нету.

И еще поразила аскетическая бедность мечетей, пустынных, как душа скопидома. Но в

это, кажется, заложен смысл: между молящимся мусульманином и всевышним нет той мишуры и позолоты, которой набита христианская церковь. Ничто не отвлекает мусульманина от «общения» с богом. Перед ним нет даже его графического изображения. Верующий рисует его образ в соответствии со своим миропониманием.

Христианину, чтобы помолиться, нужно стать перед иконой. Мусульманин с успехом молится и среди поля, подстелив только молитвенный коврик.

Когда бы ни вошел в мечеть, обязательно увидишь пять-шесть коленопреклоненных фигур, лицом к голой стене. Неоновый свет озаряет только столичные мечети, в провинции горит дельфиний жир. И вот, всмотревшись в их старые и молодые, отрешенные лица, в глаза с темным огнем самогипноза, начинаешь понимать, что вера — это не крики толпы, не пышность ритуалов и всяческих религиозных отправлений, и не стоическое выслушивание проповедей. А вернее, вера — это и крики толпы, и пышность ритуалов, и длинные проповеди, только все это сконцентрировано в одном — в душе человека...

Верующим человек, как правило, становится в несчастье. Вот почему вера-утешительница вольготнее чувствует себя в сельской глинобитной хижине, задавленной нуждой, нежели в городском современном доме с ванной и кондиционером.

А в «хижинах» живет две трети населения страны.

10

Но если вы в присутствии просвещенного турка назовете Турцию азиатской страной, он, пожалуй, обидится. Что из того, что 97 процентов территории падает на Азию? Это не аргумент, характер страны определяется не ее географическим положением, нынче вам не XVI век. Пройдите по вечерней Анкаре, по людным набережным древнего Измира или по главной улице средиземноморского города Анталя, не говоря уже о космополитичном, кишасем, как Вавилон, Стамбуле, —

пройдите и попробуйте отделаться от впечатления, что вы не в Европе.

Одежда, ночная огненная реклама, сверкающие стада машин, товары с эмблемами знаменитых фирм, сладковато-картофельный запах печеных каштанов, румяные полицейские с белой кобурой ниже ягодыцы (на ковбойский манер), привычка жевать в толпе на ходу и пить (пепси-колу!) прямо из бутылочек — все это Запад, Запад, нервная напряженная жизнь, настолько далекая от флегматичного Востока, что и сомневаться смешно.

Хорошенькие танцовщицы-зазывалы у дверей ночного бара в Анкаре и международный шабаш волосатых хиппи рядом со знаменитой стамбульской Айя-Софией — тоже не изобретение Востока. Словом, мало во всем этом азиатского и уже совсем мало истинно турецкого.

В XIX веке молодой энергичный капитализм в поисках сфер приложения капитала обратил свой взор на Восток. А Восток начинался со Стамбула (он же когда-то Византий, он же Царьград, он же Константинополь). Османская империя стремительно шла к закату, сокращаясь, как шагреневая кожа.

Век военных набегов кончался, начинался век набегов экономических. Золотое ружье, подаренное турецкому султану королевой Англии, без выстрела пробило брешь, сквозь которую устремились в Турцию английские, а за ними и иные фирмы и кампании. Стамбул стал превращаться в Ноев ковчег для международной коммерции.

Уже к началу XX века Турция попала в полную экономическую зависимость от Европы, а первая мировая война, которую Турция проиграла, поставила ее на грань существования как страны. Она была разделена на сферы оккупации государствами Антанты.

Так закончилась эра некогда могущественной Османской державы, перед которой многие века трепетал Восток и заискивала Европа.

Национально-освободительная борьба, возглавляемая генералом Кемалем (Ататюрком), и энергичная поддержка его политики независимости молодым Советским государством спасли страну от катастрофы.

Именно Ататюрк сделал первым попытку

выколотить из Турции «азию». Были закрыты религиозные школы, запрещено ношение чадры и фески. Ислам лишился наименования государственной религии. Был принят закон о браке, отменивший многоженство.

Однако азиатский характер страны выразился не только в сильной позиции религии, которая оказывала бешеное сопротивление политике Ататюрка. Восстановление национальной независимости, развитие собственной экономики было делом первостепенной важности. И Ататюрк приложил много сил, чтобы осуществить все это.

После его смерти в 1938 году принципы его политики стали утрачиваться.

Вторая мировая война, как и первая, не принесла Турции радости. Турция активно помогала фашистской Германии всем, чем могла — сырьем, продовольствием. Однако уже в 1944 году вынуждена была порвать с ней отношения и даже объявить ей войну. Война эта была странной: в ней не принял участие ни один турецкий солдат.

В послевоенные годы экономику страны продолжало лихорадить. Участие в блоках, сближение с США и ее помощь, которая в основном шла на военные цели, привели Турцию к колоссальным долгам. Официальная справка: к моменту государственного переворота 1960 года из 118 тонн золотого запаса республики в иностранные банки было заложено 102 тонны и фактически Турции не принадлежало.

Массовая безработица, националистские погромы, расстрел студенческой демонстрации возле памятника Ататюрку в Стамбуле — все это привело к взрыву и свержению правительства, возглавляемого Мендересом.

Когда проезжаешь вдоль берега Мраморного моря, в лазурной дымке видны зеленые горбы — острова, именуемые Принцевыми. Слава их мрачна. Казематы тюрем, построенных на островах еще в средневековье, много лет были свидетелями бесчисленных драм и преступлений. Здесь убивали низложенных султанов, ослепляли послов иностранных держав, казнили впавших в немилость визирей, принцев и принцесс.

Здесь, на скромном островке Яссыада, со-

стоялся суд над членами правительства Мендереса, один из приведших страну к финансовому краху и полной потере независимости.

По совокупности преступлений премьер-министру Мендересу по турецким законам причиталось три смертных приговора. На лазурных этих островах вместе с бывшим премьером были повешены также бывшие министр иностранных дел и министр финансов.

Еще одна справка на территории Турции около сотни иностранных баз всех мастей. С одной из них, расположенной на юге страны, близ древнего города Адана, поднялся в свое время и взлетел курс на СССР американский самолет-разведчик, управляемый Пауэрсом.

По воле судьбы мне пришлось лежать несколько дней в больнице города Измира. Через дорогу начиналась морская набережная. Буквально в двухстах метрах от берега возвышались свинцово-серые рубки двух американских атомных подводных лодок (рядом с Измиром крупнейшая на Ближнем Востоке американская база, а в самом Измире — средиземноморский штаб НАТО). По утрам радиоголоса муздинов перебивались грохотом поднимавшихся над самой больницей реактивных самолетов, так что в стакане прыгали тоненькие, как спички, термометры...

* * *

Завершая поездку, мы переплываем на морском пароме знаменитый Босфор. Солнце уже опустилось за холмистый горизонт. Миллионами огней искрятся берега. Вдали сверкает, горит огнями гигантский полуторакило-

метровый мост, соединяющий две части света. Стамбул — город, расположенный сразу в двух частях света — Европе и Азии.

Наш славный автобусик, запыленный анатолийскими дорогами и пропахший русскими сигаретами, стоит у самой кромки парома, будто пытается заглянуть в текучую воду пролива. Позади у него головокружительный серпантин Таврских отрогов, ущелья Ликийской горной страны, лабиринт азиатских улиц. И все это наш бойкий автобусик пробежал без единой царапины. Слава турецким амулетам!

Кахраман, улыбаясь, подвешивает к стеклу еще один. В его амулетном ассортименте — явная новинка: изящная кукла-женщина с довольно смелыми формами. Мы пытаемся выяснить, какие функции возлагает шофер на этот амулет. Кахраман показывает на приближающуюся европейскую часть Стамбула, светящуюся ночной рекламой, и весело произносит какую-то турецкую тарабарщину. Ничего не понятно...

Пролив кишит судами. Прямо перед носом парома неторопливо проплывает громадина сухогруза. На корме полощется флаг с серпом и молотом. Четко читается русская надпись «Бухарест».

Мы все вскакиваем, наваливаемся на поручни, вопим что-то, машем руками, не обращая внимания на стоящих рядом чопорных иностранцев. С мостика сухогруза кто-то рассматривает нас в бинокль. Громадина коротко рывкает — узнал своих, что ли?! И сразу все заговорили о доме и стали считать летные часы, которые отделяли нас от Москвы.

В. Хорольский, С. Смолянин

ПЕРВОЕ СЛОВО

(Заметки о стихах в кассете «Первый горизонт»)

Самый молодой участник кассеты, Иосиф Куралов, родился и вырос в Прокопьевске. Шахтерскому городу он посвящает немало строк. Возможно, образы его сборника «Пласт» покажутся кое-кому наивными, но в них та радость бытия, которой нужно учиться у молодых. При этом не чужды Куралову и размышления о жизни, ее смысле. Как жить? Стареть «по календарю», в «срок улечься, умереть»? Или быть таким, как пласт угля, о котором автор говорит: «...жизнь прекрасного порыва / Спрессовывается до взрыва». Ведь назначение поэта — не просто рифмосложение. Он должен радовать людей «неповторимой окраской ритма»:

А я придумал стих для песни!
Всего, подумаешь, строка!
Но настроение чудесней
И к солнцу тянется рука.

Много в сборнике стихов о любви. Любопытно, что и эта серьезнейшая тема не исключает авторской иронии. Ирония в стихотворении «Воспоминание о Клаудиа Кардинале» даже углубляет лиризм и философичность переживания. Уже сам заголовок погружает нас в мир парадокса: что общего у лирического героя с итальянской кинозвездой, навряд ли знающей что-либо о наших краях? О чем можно вспоминать? А вот о чем: «Была такая чувств облава/ При попустительстве погоды./ Хотя, возможно, я и Клава/ Друг друга стоили в те годы». Те годы — это годы молодости, когда герой «был сентиментальный». Он «приколотил» к стенке спальни портретик знаменитой актрисы, но, увы, — «Она другого обнимала./ И я другую обнимал». Улыбка автора, словно двусмысленная улыбка Чеширского кота, говорит о превратностях судьбы, о том, что в жизни есть желания и возможности, которые далеко не всегда совпадают, что есть игра случая и многое другое. Но ирония не довлеет в любовной лирике Куралова. «В «Письме» он говорит о чувствах влюбленного без иронической двусмысленности:

Ты не нужна мне телефонная.
Ты мне нужна совсем другая.
Ты не нужна мне законная.
Нужна законная. Нагая.

Выделяя аллитерацией ключевую мысль (законная — законная), поэт подчеркивает категоричность чувств, их максимализм. В этом же стихотворении звучит мысль — универсальное обобщение любовной лирики Куралова:

Теперь я сумасшедший с опытом.
Ты — с опытом, не сумасшедшая.

Боль любви остра, но хуже, когда ее нет. Эмоция в стихах Куралова отлита в жесткую форму, которая сдерживает волнение героя: «Наверно, мир не шелохнулся,/ Когда, стирая горький страх,/ К твоим губам я прикоснулся/ И вдруг возник в других мирах». Напряженно-звонкое сталкивание звука в словах «стирая — страх», «страх — мирах» усиливает напряженное движение стиха.

Уверенность почерка молодого поэта обещает многое. Хочется надеяться, что Иосиф Куралов оправдает слова Юрия Кузнецова, который в предисловии к сборнику «Пласт» высоко оценил его стихи.

Автор сборника «Синие ставни» — Александр Катков — человек негладкой судьбы. Отсюда и мудрая грусть многих его стихотворений. Он живет в Кемерове, но до нашего города были Ставрополье и Пятигорск, была учеба в Лейпцигском университете — были странствия и испытания. Но где бы ни находился Катков, его тянуло в отчий дом, который естественно становился ключевым образом его лирики.

Были бы живы мать и отец.
Все остальное потом образуется.
Где-нибудь, как-нибудь

да образумится
женщина,
жизнь,
строка наконец!

Читая стихи Каткова, мы видим эволюцию его мысли, попытки постичь то, что зовется смыслом жизни. Например, поэма «Круг» — своеобразная исповедь лирического героя, который, оглядываясь на свое прошлое, видит жизнь в радостях и печалих, в подъемах и падениях, но это жизнь, и именно в таком разномыслии она прекрасна: «А мир — он как прежде прекрасен / И рано идти на разрыв, / когда у природы неистовой / еще остается в запасе / берущий на сердце мотив». Как видно, стихотворение заканчивается на жизнеутверждающей ноте. Кстати, это общая черта всех пяти сборников Каткова.

Завершает книгу Каткова поэма «Колокол Чили» — поэтически хроника чилийской революции, в которой публицистическое начало органично сплетается с интимнейшими переживаниями, ибо политика сегодня стала неизбежной темой поэзии. «Колокол Чили» — поэма, предупреждающая об опасности, которую несет в себе фашизм, поэма о необходимости будить «уснувшую совесть» человечества. Она пишется в контекст других «интернациональных» стихотворений поэта — «Путь на Шапку», «Лейпциг» и т. п. В них поэтический вымысел активно взаимодействует с реальностью исторических фактов, мест, лиц, событий. Скорбная хроника о фашистском путче звучит гнетущим набатом: «С надеждою в человека, / который услышит, поймет, / в уснувшую совесть нека / колокол Чили бьет».

Катков, как и Куралов, пишет уверенно, проверяя «алгеброй гармонию», пишет в сугубо современной манере, охотно прибегая к новациям. У него много оригинальных сопоставлений, рифм, строфических находок. Досадно, что встречаются и определенные издержки. Так, ключевая метафора, давшая название всему стихотворению «Это — осень горит, словно шапка на воре», вызывает недоумение: а как горит шапка на воре? Многим ли читателям знакомо это ощущение? В том же стихотворении нам представляется неловким выражение «снова октябрь в фаворе», а в поэме «Круг», в целом весьма удачной, чересчур экстравагантная фраза «и мое сердце, как пломбу стоп-крана срываю». Любой троп выполняет свою функцию лишь тогда, когда он углубляет представление читателя о сопоставляемых предметах. А сравнить можно что угодно с чем угодно... И как удобно.

Однако повторим еще раз: Александр Катков — явление в молодой поэзии Кузбасса. Будем надеяться, что в будущем, и весьма скором, его лирика приобретет необходимую гармоничность и силу.

В отличие от экспрессивной поэзии Каткова лирика Галины Золотайной камерна, она сосредоточена на семейных переживаниях, что

вполне объяснимо: Золотайна воспитывает четверых детей. Ее поэтический мир не широк, но глубок. Неизбежная тема детства еще раз — «изнутри» — освещает нестареющую картину: дети не только не мешают, но и помогают работать, ибо, какие бы ни ждали с ними огорчения, — они, наши дети, «счастье сказочного роста». Вот почему заклиняющим звучат слова: «Не изменяй ребенку своему, / Катай его на санках в воскресенье, / Пока полмира на твоих коленях / И голосу послушен твоему». Вот пример того, как быт переходит в бытие, как преодолевается рутина, а незначительные, казалось бы, детали переплавляются в крупницы поэзии.

Понятное дело, не так-то просто вырваться из орбиты будней. Характерно, что об этом Золотайна размышляет в «Балладе о птичьей стае», завершающей сборник «Миг прозрения». Это как бы идейный итог, промежуточный финиш в эволюции художественного сознания поэтессы:

Замаяешься нести любви баул —
И, связку старых писем разбирая,
Спохватившись: а где же птичья стая?
И — ввысь глаза, а там уже июль.

Ритмический рисунок «Баллады» строго симметричен, базируется на регулярных повторениях слов и предложений, лирической темой которых служит мысль о сыпучести времени, о чем-то потерянном и неповторимом. Где, где она — птичья стая нашей судьбы? Роковой вопрос при всем его драматизме лишен безысходности: принятие бытия — одна из особенностей мироощущения и этого автора. Как и Куралов, Золотайна не избегает непоэтических сторон жизни, но преодолевает их, находя «миг прозрения» и в болыничной палате, и у сквородки, и даже в погоне за тараканом. Слово, как справедливо утверждает поэтесса, учит «быть доброй за себя и за других». Нужно учиться слушать и понимать слова, нужно «поверить вдруг в необходимость слов». Таково кредо, обусловившее особое, непростое отношение к художественному слову: в нем заклиная сила. Так, в «Балладе» слова строят много удачных звукообразов: «любви баул», «запульсирует запястье жилкой пустоты», «домаялся, дожился, занемог» — замирание гласных «а», «и», «о». Звук — это ореол и оттенок смысла. Умение использовать оттенки — несомненный показатель искусства, без чего не может быть искусства. И отраднo, что поэты шлифуют слово, заставляя его сверкать новыми гранями.

Стихи безвременно ушедшего из жизни поэта Владимира Петраша — автора сборника «Подарили мне землю» — остросоциальны. Как и

Катков, он обостренно ощущает пульсацию незастывшей современности. Уроженец Украины, Петраш закончил Томский университет, работал металлургом и журналистом в Новокузнецке. У него тоже нескучная биография, повороты которой, сколь круты бы они ни были, не сделали поэта пессимистом. Лирический герой Петраша — человек труда, личность, страдающая и верящая, личность, жаждущая духовного контакта. Таков его герой в стихотворении «Крестьянский сын, забыл я лук и поле», человек, потерявший свои истоки, горожанин, чья родина — деревня. Снова напрашивается аналогия с Александром Катковым. Два разных поэта, а чувство одно — тоска по родному краю.

Искренность, с которой они поверяют миру свои муки, не переходит в рыхлый поток излияний. В упомянутом выше стихотворении Петраша есть строки: «Я выйду в ночь, в круженье снеговое,/ Начну душе расстроенной внимать —/ И вдруг припомню сено луговое./ Его цветочный терпкий аромат». Противопоставлены две стихии — город и деревня. Первая обрисована — как «ночь, круженье снеговое», вторая — как летний сенокос. Позиция лирического героя по отношению к этим двум явлениям определяется при помощи метафор. В которой из них присутствует симпатия? В той, где автор не скупится на красочные эпитеты, или же в той, что предельно сдержанна и кратка? Конечно же, в первой.

Роль метафор в стихах Петраша велика. Они несут основную семантическую нагрузку, помогая поэту интимно-личное сопрягать с общепринятым.

Порой, к сожалению, автор говорит об известном так, что не показывает его новизны. Таково его стихотворение «Еще снегам лежать-лежать», которое не вносит ничего своего, если вспомнить хрестоматийные строки «Еще в полях белеет снег». Другое дело — стихотворение «В кузнице». Тема древняя, но найден свой ключ, свой тон. И, как следствие, образ рождается оригинальный: «И звон стоял в моих ушах,/ И белоогненным налетом/ Соль остывала на плечах». Подобные находки у В. Петраша чаще в тех случаях, когда речь идет о страданном, о самом-самом.

Семен Печеник, как и Петраш, родился на Украине, но стал сибиряком. Проблемный нерв его сборника «Полюнь на ветру» — нравствен-

ный облик нашего современника. Лирический герой тяготеет к дидактике, но это не плоская назидательность ученого педанта, а особая поэтическая дидактика. Примером ее может быть стихотворение «Старинной притчи суть», посвященное вечному конфликту добра и зла: «Старинной притчи суть/ Томит меня с утра,/ Чтoб зла не всколыхнуть — / Не сотвори добра.../ И понял я теперь:/ Коля не творить добра —/ Не выдержит и зверь/ С утра и до утра». Этическая позиция обусловлена активностью общемировоззренческих установок, непримиримостью к пассивности — поэт против жизненного нейтралитета.

Нравственный пафос лирики Печеника особенно актуален. Показательны заголовки стихов: «Жизнь справедлива, жизнь строга», «Кисельных нет в Сибири берегов», «Если станет в жизни тяжко», и т. п. Они концентрируют в себе идейную направленность сборника. Но порой появляется ложно-идиллический пафос. Нет-нет да и мелькнут на страницах сборника «комсорги в стиральных ковбойках», «бригада сварщиков каленых», «бригада каменщиц лихих», которые «как в атаку роты/ Здесь поднимались на работы». Появляется сусальное любование пышнотелой Натой, которая покидает «расписной сибирский край»: поиск красоты заводит автора в рощи ложной красоты.

Сильная сторона сборника — пейзажная лирика, особенно, когда речь идет о «ландшафте» души героя. Погода «внешняя» органично слита с погодой «внутренней», причем столь органично, что сам пейзаж воспринимается как символ человеческой жизни. Любимое время года поэта — осень. Щемящее чувство прощания с радостью лета звучит в стихотворениях «Закаты горят и восходы», «Август», «Осеннее». В них немало образов, свидетельствующих о даровании поэта: «сентябрьская свеча», что «горит 'невдали от мая», «холодных капель мягкий свист», туманы, что «томят речные острова».

Символично заканчивается книга. Автор, много стихов посвятивший тому, каким должен быть настоящий человек, в последнем стихотворении рисует образ: «Кисельных нет в Сибири берегов,/ Молочные пока не лютуют реки./ Но нет сплоченней нас, Сибиряков,/ И человек живет здесь Человеком».

Нгуен Хыу Зи

ВЬЕТНАМСКИЕ ПРИТЧИ

Их прислал в альманах гость из далекого Вьетнама, который руководит группой строителей в одном из управлений г. Ленинска-Кузнецкого.

Наш народ любит шутки, притчи, поучительные присказки,— пишет Нгуен Хыу Зи. Некоторые из них я перевел на русский язык и предлагаю вашему вниманию. Может быть, они заинтересуют читателей «Огней Кузбасса».

НЕПОДКУПНЫЙ

Один Человек, занимая видный пост, творил людям добро, был справедлив и неподкупен.

Не зная, как отблагодарить своего заступника, крестьяне, которым он оказал немало больших и малых услуг, все-таки решили подарить ему на день рождения золотую мышь.

Добрняк родился в год Мыши и отказаться от столь бескорыстного подношения на этот раз не посмел.

— Как жаль, — вздохнул Неподкупный Человек, принимая золотую мышь, что я не родился в год Буйвола.

РЕДКАЯ ЗМЕЯ

Муж долго странствовал на чужбине. Вернулся домой и поведал жене:

— Однажды мне встретилась в лесу диковинная змея: шириной — сорок метров, длиной — все сто.

— Не увлекайся, дорогой, — возразила жена, — таких огромных змей не бывает.

— Сто не сто, — слегка поубавил пыл рассказчик, — по восемьдесят — это уж точно.

— И таких змей нет в природе, — покачала головой жена.

— Тогда шестьдесят, — стоял на своем муж.

— Опять сочиняешь, — махнула рукой жена.

— Вспомнил! — воскликнул муж. — Была та змеюга сорокаметровой!

— Поздравляю, мой милый, — рассмеялась жена, — сорок метров в длину, сорок — в ширину. Тебе повстречалась квадратная змея.

СЛОН И ПЯТЕРО СЛЕПЫХ

Первый слепой ощупал бивень и уверенно сказал:

— Слон похож на бамбуковое коромысло, заостренное с одного конца.

Второй прикоснулся к хоботу и возразил:

— Нет, это животное напоминает крупную пиявку.

Третий обследовал ухо и сделал вывод:

— В этом звере есть что-то от веера из листьев ореховой пальмы.

Четвертый потрогал ноги слона и не согласился:

— Ошибаетесь, друзья! Я ощущаю колонны собора.

Пятый провел по хвосту:

— Не мелите вздор! Это же метелка!

Заспорили слепые... До сих пор руками машут. Каждый по-своему вроде прав, а единой правды не видят.

БЛАГОДАРИЯ ПОРОСЕНКУ

В давние времена это было. Пришел бедный сосед к богатому, а его и на порог без приношения не пускают.

Зажарил бедняк своего последнего поросенка — сразу стал желанным гостем:

— Садись, приятель. Вот тебе лучшая в мире сигара.

Взял бедный сосед сигару и сует ее в рот поросенку:

— Кури на здоровье, приятель. Если бы не ты, не сидеть бы мне здесь за столом.

УРОК ТИГРУ

Увидел вольный Тигр, как Буйвол в яре ходит, как хозяин им помыкает, и возмутился:

— Что за сила в Хозяине? Чем он тебя подчинил?

— Хозяин-то — человек, — вздохнул Буйвол, — он умом наделен. И тебе может его показать.

г. Ленинск-Кузнецкий

— И покажу, — вмешался в беседу Хозяин, — но ум сейчас не при мне, подожди, Тигр, я за ним домой схожу Ты же тем часом моего Буйвола постереги.

А сам окружил Буйвола огненной завесой и спрятался за деревом, чтобы оттуда все видеть и быть самому незамеченным.

Решив, что Хозяин ушел, Тигр почуял легкую добычу, бросился в огонь и опалил бока. Потом едва ноги унес.

— И впрямь не глуп Человек, — смекнул Тигр, — и без добычи я остался, и в полосатых подпалинах.

С тех пор тигры держатся подальше от тех, кто наделен умом, бояться, как бы их не постигла еще и участь буйволов, ведь от Человека с умом можно всего ожидать.

Публикацию подготовил **В. Матвеев**



Н. В. Вертков. Совхозный строитель. Х.-м.

